

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Михаил Барро
Пьер-Огюстен Бомарше. Его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк М. Барро

С портретом Бомарше, гравированным в Лейпциге Геданом



Предисловие

«Видите вы эту яблоню, – говорит Рудин, – она сломилась от тяжести и множества своих собственных плодов. Верная эмблема гения»… Это изречение особенно справедливо в применении к Бомарше. Он именно подавлен избытком своих сил. Писатель, он постоянно рвется на арену кипучей деятельности в совершенно противоположной сфере и даже разом в нескольких сферах. Что ни задумывает, он постоянно задумывает широко, музыка теснится в его драме, драма – в музыке, и везде звучит и блещет у него что-нибудь новое, неожиданное, оригинальное или, лучше, вспыхивает ярко, ослепительно, чтобы смениться чем-нибудь столь же ярким и ослепительным. Он, как Петр Великий в определении Пушкина, —

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник…

Но не только здесь кроется причина «подавленности» Бомарше. Подобно яблоне, обремененной плодами, он согнулся и сломан, но не одни плоды пригибают его долу… Как ни высоко стоит гений над толпою, он все-таки сын этой толпы, дитя одной с ней эпохи. Он отмечен не только ярким светом тысячи благородных искр, чуть заметно тлеющих в сердцах его современников, но в то же время носит на себе и язвы этих последних. Автор «Женитьбы Фигаро», смелый обличитель всякой неправды, защитник угнетенных, он очень часто оказывается совсем не на той дороге, куда призывает других. Он пробирается иными путями. Он знает, что эти пути некрасивы, но, кроме идеи, его влечет еще жажда жизни, сытой, спокойной, и он смело заносит свою ногу в топкое болото, потому что вдали, по ту сторону, виднеется тихая пристань довольства. В конце концов он почти потерял из виду ту цель, к которой стремился в своих произведениях, и когда нация напрягала все силы над новым зданием общественной жизни, ее глашатай ломал свою голову над украшением пышного жилища сибарита. Свободолюбивый Фигаро, от долгого общения с графом Альмавивой и его гостями, он, как старый лакей, потерял свое лицо и стал ужасно походить на барина, которому служил. «В одну ночь, – говорит об этом Берне, – Бомарше сделался дураком, в одну ночь потерял всю свою благородную отвагу, свой ум, свою ловкость, свою прежде

несокрушимую твердость»… Это было накануне разрушения Бастилии.

Но суд истории не может объявить Бомарше: «Суд презирает тебя и объявляет бесчестным». Французское общество опередило творца Фигаро. Он умер, как Моисей, на границе обетованной земли, на заре новой жизни, но кому суждено было увидеть и солнце этой жизни, те обязаны были этим зрелищем все тому же Бомарше. На извилистом пути исторического прошлого это – один из светочей, озарявших путь, один из голосов, могуче призывавших: «Вперед! вперед!»… Этот голос не замолк еще и ныне… Разверните «Женитьбу Фигаро»: не одним весельем веет от этой книги, чуется в ней что-то родное, перед глазами начинают мелькать Альмавивы, незаметно превращающиеся в Скалозубов и Фамусовых, и другие «знакомые все лица»… В этом влиянии произведения Бомарше лучшее оправдание писателя перед потомством. Его смех далеко не потерял еще своего значения, как не перевелись еще уголки, где Фигаро по-прежнему опасный человек, по-прежнему извивается на все лады, чтоб отстоять свою личность под стремительным натиском продажных Марэнов, взяточников Гезманов, лицемеров Бежарсов и других, и других… Не лишены также поучительности и темные стороны в характере Бомарше. Как ни велика личность этого человека, как ни могуч его характер, среда все-таки заедает его, необходимость постоянных сделок с совестью, приспособления к обстоятельствам навсегда кладут на него какой-то пестрый отпечаток и вырывают у самого писателя мучительный вопрос, кто же был он, наконец, чему поклонялся и что сжигал…

Глава I. Детство и годы учения

Даниэль Карон и Мария Фортен – кальвинисты. – Андре-Шарлъ Карон – драгун, католик и часовщик. – Его женитьба и дети. – Рождение Бомарше. – Характеры его отца и матери. – Детские игры и воспитание Бомарше. – Обучение в Алъфорской школе. – Возвращение домой. – Бомарше в 13 лет. – Изгнание его из дому. – Договор с отцом. – Успехи в роли часовщика. – Столкновение с Лепотом и победа. – Карон-сын – королевский часовщик.

«Господь, Творец всего сущего, да будет нашим помощником и началом. Аминь»… Такими словами начинается список четырнадцати детей Даниэля Карона и его жены Марии Фортен. Своеобразная метрическая запись исполнена без обычных формальностей, в старой истрепанной книжке вроде тех, в которых бережливые хозяйки ведут счет своим расходам. Даниэль Карон был кальвинистом, кальвинистом после отмены Нантского эдикта, следовательно, еретиком, человеком вне закона. По ремеслу же он был часовщиком. Он жил в старой провинции Бри, в небольшом городке Лизи на Урке, теперь в департаменте Сены и Марны. Провинция Бри была очагом самого рьяного кальвинизма. Ни красноречивое слово Боссюэ, ни грубая сила драгонад, ничто не могло сломить нормандских последователей Кальвина. Лишенные прав гражданства и права совершать в городе свое богослужение, они укрывались в пустынных местах и там молились, пользуясь проездом странствующего пастора. Их браки не признавались действительными, дети считались незаконными. Этим объясняется странная форма метрической записи Каронов.

Почти все многочисленное потомство Даниэля Карона умерло до зрелого возраста. Крепче других детей оказался четвертый – Андре-Шарль Карон. Он родился 21 апреля 1698 года и спустя десять лет лишился отца. Вдова Карона переезжает в это время в Париж. Что заставило ее переменить место жительства, хотела ли она найти покой в столице, всегда более веротерпимой, чем провинция, или под влиянием забот о детях в ней слабела уже вера в то, что так стойко защищалось в Лизи на Урке?.. Прямых ответов на эти вопросы не имеется, но есть косвенный ответ на последний вопрос. Едва достигнув совершеннолетия, сын кальвинистки Марии Фортен, Андре-Шарль Карон поступает в ряды тех самых драгунов, при виде которых дрожали еретики провинции Бри. Он был в летах, когда

жива еще связь между отцами и детьми; невольно возникает поэтому предположение, что Андре избрал военную карьеру с согласия своей матери… Впрочем, он недолго носил пестрый мундир драгуна. Неизвестно, по каким причинам 5 февраля 1721 года он покинул военную службу и, поселившись в Париже, стал изучать ремесло отца. С верой родителей было иначе. Менее чем через месяц после приезда в Париж Андре Карон принял католичество и закрепил свое отречение распиской: «7 марта 1721 года в церкви Nouvelles Catholiques я отрекся от ереси Кальвина». В последующей своей жизни Карон всегда свято соблюдал все обряды католической церкви, но все-таки есть основание думать, что его обращение было одним из средств борьбы за существование. Католицизм был в эту пору своего рода правом на заработок и свидетельством благонадежности. И Андре Карон опирается на это право. Через год после отречения от ереси Кальвина он подает прошение в государственный совет на королевское имя и ходатайствует об утверждении в звании часовщика. Для этого требовалось определенное время выучки под руководством «патентованного» мастера. Карон не удовлетворял этому требованию, и потому, в подкрепление своей просьбы, он ссылается на свое обращение в католичество. Вероятно, этот аргумент оказался достаточно веским, так как прошение Карона было удовлетворено вопреки установленным правилам. Получив звание часовщика, через три месяца после этого, 13 июля 1722 года, Андре Карон женился на Луизе Пишон, дочери парижского буржуа, как расписался ее отец в церковной книге. По исследованиям Жаля, от этого брака родилось не менее десяти детей, семь дочерей и три сына. Первым ребенком Каронов была дочь Мария-Винцентина, вторым тоже дочь – Мария-Жозефа. Мария-Жозефа вышла потом замуж за Гильбера, архитектора Его Величества, короля Испанского, и жила в Мадриде вместе с мужем и сестрою Марией-Луизой, четвертой дочерью Каронов. Вероятно, ни положение, ни жалованье королевского архитектора не представляли собой ничего ни высокого, ни выгодного, так как жена Гильбера еще содержала в Мадриде модный магазин. Третий потомок Каронов и трое последних были тоже дочери. Имя первой неизвестно, имена остальных в порядке их рождения – Мадлена, Мария-Юлия и Жанна. В 1756 году Мадлена вышла замуж за известного часовщика Лепина. Это все, что можно сказать о ней; не больше известно также о ее сестрах, исключая двух последних. Особого внимания заслуживает Мария-Юлия. Она родилась в 1735 или 1736 году. Ее наружность и вся фигура не лишены были привлекательности, судя по мадригалам воспевавших ее неведомых поэтов. Со хранившиеся письма Марии-Юлии рисуют ее весьма

симпатичными чертами. Она любила читать, ее увлекали то Дидро, то Ричардсон, и все эти увлечения сейчас же отражались в ее письмах, несколько вычурного и неровного характера, с заметной склонностью к остроумию. Кроме родного языка, по словам Ломени, она знала еще испанский и итальянский, недурно играла на арфе и виолончели и даже писала музыку и стихи, невысокого, впрочем, достоинства. Вместе с Жанной Мария-Юлия нередко участвовала в домашних спектаклях. Она играла, между прочим, Дорину в «Тартюфе» Мольера. Ей не чуждо было в то же время осмеянное тем же Мольером стремление мещан разыгрывать из себя аристократов: провинция постоянно поражала ее дурным тоном. Все эти свойства своего характера она наследовала от отца.

Из троих сыновей Андре Карона двое – Огюстен и Франсуа, умерли, не достигнув отроческого возраста. Что касается третьего, то это был творец «Фигаро», Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. Он родился 24 января 1732 года, в год первого представления «Заиры» Вольтера, во время религиозной борьбы в парламенте и разлада в среде духовенства, среди волнений по поводу чудес на Сен-Медарском кладбище («Умственные эпидемии» Реньяра). «Рукоплескания в театре, шумные дебаты в парламенте, глухой ропот Сорбонны и рычание конвульсионеров, – говорит Гюден, – не достигали колыбели ребенка, но так как они продолжались в течение всей его юности, то, несомненно, произвели некоторое впечатление на этого страстного гения». С этим мнением нельзя не согласиться. Но ближайшая среда еще сильнее влияла на ребенка, ближайшие спутники его первых шагов, родители, сестры и братья.

Как уже известно, отречение Андре Карона от ереси Кальвина было отчасти средством борьбы за существование, но только отчасти. Были еще другие причины этого отречения. Религиозные воззрения Кальвина, революционные относительно католической церкви, сами по себе были явлением в высшей степени консервативным. Они налагали на личность тяжелые путы, как бы очерчивали вокруг нее магический круг, исключавший всякие поиски других истин, других горизонтов. Это было по плечу аскету по природе, человеку холодному, но вовсе не вязалось с характером Андре Карона. Строгий, как настоящий кальвинист, холодно внимающий жгучему красноречию католического проповедника, он вдруг становился сентиментальным, почти до слез, как это видно из многих его писем. Он любил литературу и, судя по его цитатам и сравнениям, особенно увлекался сентиментальной литературой. Грандисон увлекает его до того, что он читает эту книгу серьезно больным, как только недуг хоть несколько позволит ему забыть о страданиях. Ему не чужды также

приливы легкого юмора; Рабле, может быть, менее Ричардсона, все-таки знаком этому человеку… Андре Карон был женат три раза, во второй и третий раз почти стариком. Эта склонность к женской ласке окончательно дорисовывает чувствительную натуру Карона-отца. Само ремесло Карона говорит в пользу его ума, В XVIII веке часовщик почти всегда в то же время механик и инженер. Дух изобретательности царит в эту пору среди ремесленников этого цеха. Часовщик Гюго вместе с Буге и Кондамином принимает участие в перуанской экспедиции для измерения градуса меридиана под экватором. Ромильи первый устраивает часы, бьющие секунды, и часы с заводом на целый год. Из четырех сыновей часовщика Леруа двое получают ученые степени. По-видимому, и Андре Карон не ограничивался тесным кругом своего ремесла. В 1746 году мадридский губернатор обращался к нему за советом об употреблении машин для расчистки рек и гаваней. Карон дал ответы вполне ясные и точные как человек, знакомый с делом.

О жене Карона можно сказать, что она была домовитая, добрая женщина, но руководящая роль в воспитании детей принадлежала не ей, а мужу.

Картину детства будущего знаменитого писателя сохранила потомству сестра Мария-Юлия в плоховато написанной поэме на манер «Энеиды» и «Генриады» со знаменитым началом «пою». Бомарше – главный герой этой поэмы и предмет восторгов ее автора. Член многочисленного семейства, он то и дело ускользает от родительской опеки. Он целый день на улице, во главе многочисленной банды девчонок и мальчишек, таких же сорванцов, как и он. Кухарка Марго напрасно защищает от них кладовую, а мирные обыватели улицы Сен-Дени – места рождения Бомарше – тщетно пытаются уснуть под оглушительный хохот и крики многочисленных спутников юного Карона. Во всех играх и затеях детворы сын часовщика оказывается на первом месте. Он любил, между прочим, разыгрывать судью и, заседая в кресле, в самодельном костюме представителя право судия, разбирал жалобы истцов, своих сверстников, причем всегда вел дело таким образом, что и правые, и виноватые одинаково получали от него обильные колотушки. В своих играх дети обыкновенно подражают старшим, копируют виденное и слышанное. Пройдет воинский отряд с музыкантами впереди, и смотришь, – толпа мальчишек, вооружившись палками, уже марширует на какой-нибудь площадке. Религиозная процессия нарушила обычное движение улицы, – и те же мальчишки со всякою всячиной в руках, в слабом подобии священнического облачения, копируют виденное ими религиозное шествие. Такого же, вероятно, происхождения была игра

Бомарше в судью. Шарж, с которым он разыгрывал эту роль, заставляет думать, что комический судья, любитель заушения, перенесен им в детские забавы с подмостков какого-нибудь балагана. С другой стороны, в семейном архиве Каронов сохранился так называемый мемуар, откуда видно, что отцу Бомарше случалось встречаться с представителями правосудия. Очень может быть, что отцовские рассказы о судебной процедуре, пересыпанные едкими замечаниями, во вкусе знакомого ему Рабле, то о том, то о другом участнике процесса, послужили темою для судебных игр Бомарше.

По праздникам вся семья Каронов направлялась в церковь. Нелегко было собрать вместе эту многочисленную семью. Юные члены ее с самого утра разбредались по разным закоулкам, но Карон-отец нашел выход и придумал особенную систему штрафов. Каждый ребенок получал у него в месяц определенную сумму на лакомства и другие детские расходы, и вот – кто опаздывал в церковь, у того вычиталась часть этой суммы. Кто приходил после начала, у того удерживалось 12 су, опоздавший к чтению Евангелия штрафовался на 24 су, а не заставший возношения даров терял четыре ливра… «Таким образом, – вспоминает об этом Бомарше, – у меня очень часто оказывался дефицит в шесть или восемь ливров».

Десяти лет от роду Бомарше был отдан в школу в Альфоре. Что это была за школа, в точности неизвестно. Фигаро в «Севильском цирюльнике», многими чертами похожий на своего творца, говорит, что обучался ветеринарному искусству, но, по справке Ломени, ветеринарная школа в Альфоре была открыта гораздо позже. Гюден сожалеет, что старик Карон не отдал сына в университет или иезуитскую коллегию, отсюда следует заключить, что Альфорская школа была ниже и того, и другого учреждения. По-видимому, Бомарше был отдан в Альфор полным пансионером и только по праздникам приходил домой. Двенадцати лет он впервые испове довался в монастыре отцов Босоногих[1], где ему чрезвычайно понравилась картина Страшного Суда, доказательство раннего развития у него эстетического чувства. Накануне праздников, направляясь из школы домой, он часто сворачивал в Венсенн, к своему исповеднику, посмотреть на любимую картину и послушать рассказы монаха, тем более что эти рассказы всегда заканчивались хорошим угощением для слушателя.

В Альфорской школе Бомарше пробыл всего три года. На тринадцатом году отец взял его обратно домой. Вероятно, средства не позволяли старику Карону дальнейшие расходы на воспитание сына. Ему нужен был помощник в семье, работник в возможно скором времени.

Наконец, как видно из его писем, он высоко ставил ремесло часовщика, а при таком настроении, естественно, не мог желать для своего сына ничего лучшего. Очень может быть также, что молодой Карон сам навел отца на мысль о прекращении курса наук своими скромными успехами.

Багаж знаний, с которым Бомарше возвратился под сень родительской кровли, без сомнения, был невелик. В Альфоре его обучали среди прочего латыни, и некоторые обстоятельства дают повод думать, что Карон-сын преуспел в этой науке. В 1741 году Париж праздновал блестящею иллюминацией рождение королевского принца. Начальство Альфорской школы отпустило своих питомцев посмотреть на это зрелище, и Бомарше в числе других. Как вспоминал он потом, его особенно поразила своим значением огненная надпись на здании тюрьмы – «Usque in tenebris» («Даже во мраке»). Беттельгейм полагает, что смысл этой фразы был объяснен Бомарше тем самым монахом, который угощал будущего писателя вкусными завтраками. По мнению немецкого биографа, знакомство Бомарше с латынью было весьма ограничено, и все цитаты в его сочинениях из римских классиков не что иное, как дань господствовавшей в то время моде. Действительно, в бумагах писателя сохранился список всех подобных изречений с приложением французского перевода их, исполненного рукою Бомарше. Но если Бомарше страдал недостатком дипломированного образования, то он с избытком обладал конечным результатом всякого образования: живым умом, способным верно судить о вещах. Гений выручал плохого школьника.

В нравственном отношении тринадцатилетний Бомарше был чрезвычайно странным ребенком. Подобно Лермонтову и Байрону, Карон очень рано обнаруживает чувственность. В тринадцать лет он уже влюблен в какую-то девицу и, когда она выходит замуж, предается некоторое время довольно мрачному настроению. Он делает в это же время первые попытки писать стихи и, надо сказать, пишет их без особенного труда, так как пересыпает ими письмо к сестре, мадам Гильбер, в Мадрид.

«Ваше письмо, – пишет тринадцатилетний корреспондент, – доставило мне бесконечное удовольствие. Оно вывело меня из *мрачной меланхолии*, которая владеет мною с некоторых пор, делает мне жизнь в тягость и заставляет сказать вам без лжи,

Что часто я томим желаньем
На край вселенной удалиться,
От злых людей уединиться
И кончить там с существованьем.

Но известия, полученные мною от вас, начинают понемногу проливать свет на мою мизантропию. Свободный и занимательный стиль Лизетты (вторая сестра Бомарше, тоже в Мадриде), увеселяя мой ум, незаметно превращает мое мрачное настроение в приятную истому, так что, не оставляя идеи об уединении, я думаю, что товарищ *другого пола* не замедлил бы скрасить мою отшельническую жизнь».

Здесь опять начинаются стихи. Бомарше перечисляет достоинства всех своих сестер и выражает желание, чтобы все эти прелести соединились в предполагаемом средстве от мизантропии, товарище другого пола. Он проводил бы дни с этим товарищем, ничего не делая, а ночи – посвящая любви. Письмо опять прерывается стихами, идея которых – намек на неудачный роман – никогда не связываться с женщинами. По словам Ломени, конец этого письма тринадцатилетнего корреспондента совсем неудобен для цитированья.

При таком настроении молодого Карона обучение часовому мастерству не могло, конечно, подвигаться с особенным успехом. Бомарше занимался спустя рукава. Его постоянно отвлекала другая страсть, любовь к музыке. Он играл чуть не на всех инструментах, оглушая своих домашних и соседей по квартире. В это же время у него заводятся знакомства с жуирующей молодежью. Маленькие пирушки в кругу этих приятелей вызывают постоянные исчезновения его из дому и поздние возвращения обратно. У него создаются в эту пору свои собственные расходы, и, чтобы добыть для них денег, он начинает принимать заказы тайком, без ведома отца, а выручку обращает в свою пользу. Стихи он пишет по-прежнему, с теми же вздохами о товарище другого пола, и волочится за знакомыми и незнакомыми девицами.

Старик Карон долго терпел безалаберное поведение сына, но не выдержал наконец и выгнал его из дому. Изгнание было, по-видимому, фиктивное, как крайняя мера с целью подействовать на самолюбие сына. Бомарше – ему было в это время 18 лет – укрылся у знакомых и при помощи этих последних ходатайствовал о возвращении под родительский кров. Старик Карон разыгрывал комедию изгнания чрезвычайно ловко и долго казался неумолимым. Наконец, примирение состоялось при посредничестве родственника и друга Каронов, банкира Коттэна. Но прежде чем возвратиться домой, Бомарше должен был подписать обязательство беспрекословно повиноваться воле отца. В этом документе чрезвычайно ярко обрисовывается как личность отца будущего писателя,

так и причина разлада обоих, а следовательно, и личность самого Бомарше.

«Вы не будете, – так начинался договор отца с сыном, – ни приготовлять, ни продавать, ни прямо, ни косвенно, ничего, что не отмечалось бы в моих счетах, и воздержитесь от искушения присваивать себе что-либо из моей собственности, абсолютно ничего сверх того, что я назначу вам. Вы не будете принимать в починку часов или других вещей ни от своих друзей, ни под каким другим предлогом, не предупреждая об этом меня. Вы не прикоснетесь к ним без особого приказания моего в каждом случае, даже поломанного ключа вы не будете продавать, не отдавая мне отчета. Летом вы должны вставать в 6 часов, зимою – в 7. Вы будете работать до ужина и всё, что я вам прикажу. Я подразумеваю, что таланты, данные вам Богом, вы употребите лишь на то, чтобы прославиться в своей профессии. Поймите, что вам стыдно и бесчестно пресмыкаться в этой профессии, что вы не будете стоить плевка, если не сделаетесь здесь первым. Любовь к этой прекрасной профессии должна наполнять ваше сердце и одна только занимать ваш ум.

Вы прекратите ваши ужины в городе и вечерние прогулки: и те, и другие слишком опасны для вас. Я разрешаю вам обедать у ваших друзей по воскресеньям и праздникам, но с условием, что я всегда буду знать, куда вы пойдете, и что вы будете возвращаться домой всегда раньше девяти часов. Отныне даже умоляю вас никогда не просить меня отменить это правило и не советую вам делать это самовольно.

Вашу несчастную музыку вы должны будете вовсе оставить, особенно же приемы молодых людей: я не потерплю ни одного из них. И музыка, и молодые люди погубят вас. Однако, принимая во внимание ваше пристрастие, я разрешаю вам игру на скрипке и флейте, с тем непременным условием, что вы будете играть на них в рабочие дни только после ужина и ни в каком случае днем, не нарушая в то же время покоя соседей и моего.

Я буду избегать по возможности посылать вас в город, но, в случае, если этого потребуют мои дела, запомните хорошенько, – я не приму никаких извинений, если вы запоздаете с возвращением домой: вы знаете заранее, как возмущают меня ваши отлучки.

Вы получите от меня стол и 18 ливров ежемесячно на ваши расходы и на погашение ваших долгов. Было бы слишком вредно для вашего характера, если бы я назначил вам жалованье и оплачивал ваши работы. Но если вы, в чем – ваша обязанность, будете способствовать успеху моего дела и своим талантом доставите мне какую-либо прибыль, я дам вам четвертую часть дохода с вашей работы. Вы знаете мой образ мысли, вам

по опыту известно, что меня нелегко превзойти в великодушии; заслужите же, чтобы я сделал для вас больше, чем обещаю. Но помните: мне не нужно слов, я требую дела. Если вы согласны на мои условия и чувствуете себя достаточно сильным, чтобы исполнить их добросовестно, принимайте их и, подписав, возвратите мне…»

Конечно, Бомарше поспешил подписаться под этим «Домостроем», хотя ему не нравилось намерение отца обращаться с ним, как с ребенком.

Старик Карон не ошибся. Его суровая мера не замедлила оказать свое действие: ветреник и гуляка, Бомарше вдруг сделался усердным работником. Оправдалась также и надежда отца, что таланты сына обеспечат последнему выдающееся место в ряду других часовщиков: молодой Карон прославился как изобретатель. Он придумал особый ходовой анкер и с этих пор выходит на арену известности и вместе с тем борьбы. Изобретение было сделано им в июле 1753 года. В порыве радости и, вероятно, тщеславия он поделился своей новостью со знаменитым в то время часовщиком Лепотом. Новость была сообщена под секретом, но в сентябре того же года Бомарше с удивлением прочел в газете «Меркурий» объявление Лепота о сделанном им, Лепотом, изобретении, как две капли воды походившем на изобретение молодого Карона. Очевидно, Лепот рассчитывал на свою известность и на полную неизвестность Карона. Он не подозревал, что самолюбивый и слишком откровенный изобретатель обладал уменьем не по летам отстаивать свои интересы. В том же «Меркурии», в ноябре того же года, было напечатано письмо Бомарше, оповещающее всех о подделке Лепота. Лепот попытался было раздавить обобранного им юношу свидетельством каких-то трех отцов-иезуитов и шевалье де Ламольера, но спор двух часовщиков обратил уже на себя внимание в правящих сферах, и министр двора, граф Сен-Флорентен, поручил Академии разрешить вопрос. Назначенные Академией эксперты Камю и Монтиньи дали заключение за подписью «вечного» секретаря Гранжана де Фуше, что «господин Карон должен считаться настоящим изобретателем нового ходового анкера, а Лепот – только подражателем его изобретения; что представленный Лепотом в Академию 4 августа (1753 г.) ходовой анкер не что иное, как естественное следствие того же механизма господина Карона, и что ходовой анкер этого последнего, менее совершенный, чем Грагамов, оказывается, в применении к карманным часам, самым совершенным из всех, какие употреблялись в этом случае, хотя в то же время и самым трудным по исполнению…» Таким образом, победа осталась за Бомарше.

Будь молодой Карон изобретателем не ходового анкера для часов, а

чего-нибудь другого, хоть и более важного, он, вероятно, скоро погрузился бы в Лету, и единственной наградой его было бы уважение немногих истинных ценителей всякой новизны. Но часы, не столько прибор для измерения времени, сколько предмет тщеславия и моды, должны были выдвинуть его на первое место. Как только Академия признала и утвердила за ним право на новый анкер, его сейчас же завалили заказами блестящие представители парижского общества, а король пожаловал ему титул придворного часовщика. Впрочем, и сам Бомарше не упускал случая рекламировать себя, и притом чрезвычайно ловко. Кто-то будто бы распустил слух, что анкер Карона не годится для плоских часов, и вот изобретатель, под предлогом публичного выражения почтения известному часовщику Ромильи, объявляет во всеобщее сведение, что он изготовляет какие угодно плоские часы, более плоские, чем делали раньше, и притом нисколько не в ущерб достоинству механизма. Первый образец таких часов имеется у Его Величества, и Его Величество носит их уже целый год и вполне доволен. Мадам Помпадур изобретатель преподнес часы, вделанные в перстень, всего в четыре линии диаметром и в две трети линии толщиною. «Таким образом, – заканчивалось письмо Бомарше все в том же „Меркурии“, – пользуясь моим анкером и моею конструкцией, можно изготовлять плоские часы и каких угодно малых размеров. Карон-сын, королевский часовщик».

Людовик XV чрезвычайно интересовался как изобретателем, так и его изобретением. Когда Бомарше преподнес ему часы, король приказал завести их и объяснить всем присутствовавшим придворным устройство их механизма. Не менее интересовали короля часы-перстень госпожи Помпадур, он заказал такие же для себя, а его примеру последовали придворные. Бомарше приготовил также часы для дочери короля, принцессы Виктории: они были с двумя стеклами, что позволяло видеть стрелки со всех сторон. Имя часовщика Карона приобретало в Версале все возраставшую популярность.

Глава II. Бомарше при дворе

Бомарше и Франке. – Карон-сын в качестве придворного. – Характер его должности. – Поиски лучшего положения. – Смерть старика Франке.– Бомарше в роли аббата. – Женитьба на вдове Франке. – Изменение в фамилии. – Смерть жены. – Новые успехи. – Сближение с дочерьми Людовика XV. – Бомарше – учитель музыки. – Зависть придворных. – Дуэль. – Пессимистическое настроение Бомарше. – Поэма «Оптимизм». – Причина пессимизма ее автора.

«Как только Бомарше показался в Версале, – пишет Гюден, – женщины были поражены его высоким ростом, тонкою и грациозною талией, правильными чертами его свежего и выразительного лица, его уверенным взглядом, тем гордым видом, который, казалось, возвышал его над окружающими, наконец, тем невольным жаром, которым он загорался при виде женщин». Высокопоставленные дамы, конечно, скрывали свое волнение, но одна женщина не устояла перед обаянием личности модного часовщика. В лавку Карона явилась однажды молодая дама и в большом смущении попросила починить часы. Это была жена Франке, некрупного придворного чина, нечто вроде контролера отчетности на кухне Его Величества. Урожденная Обертэн, Мария-Мадлена Франке была женщина тридцати лет, но все еще замечательная красавица. Что касается ее мужа, то это был дряхлый, болезненный человек.

Дон-Жуан с тринадцатилетнего возраста, Бомарше отлично понял причину смущения своей заказчицы, к тому же скромность, как признавался впоследствии он сам, никогда не была его добродетелью. Он сам отнес к Франке исправленные часы и с этих пор стал близким другом этого семейства. Через несколько месяцев после этого старик Франке, конечно, благодаря ловким маневрам жены и нового знакомого, уступил Бомарше свое место контролера за определенную пожизненную ренту. Уплату этой ренты гарантировал Карон-отец. Но, прежде чем вступить в отправление придворной должности, Бомарше должен был отказаться от звания часовщика и только тогда получил утверждение в новой обязанности королевским указом от 9 ноября 1755 года. На этот раз старик Карон не проронил ни слова о «прекрасной профессии» часовщика. Вместе с отказом от ереси Кальвина это довольно ярко характеризует его как человека не особенно стойкого в своих убеждениях, когда дело касалось выгоды. По словам Гюдена, сын походил на него не только внешностью,

но и складом своего характера.

Должность контролера на кухне Его Величества, как и многие другие, была своего рода налогом на тщеславие, обычным средством французских королей увеличивать свою казну, «у короля Франции, – говорит Монтескье в „Персидских письмах“, – нет золотых рудников, как у его соседа, короля Испании, но он богаче последнего, потому что извлекает золото из тщеславия своих подданных, более неисчерпаемого, чем рудники». Список придворных должностей, всегда более дорогих, чем нужных, и нередко весьма курьезных, можно найти в «Версальском альманахе». Там говорится, между прочим, о заведующем галстуками короля (cravatier ordinaire du roi) и о смотрителе комнатных левреток (capitaine des levrettes de la chambre). У контролера кухонной отчетности было, конечно, гораздо больше хлопот, чем у его коллег, ведавших галстуками и левретками. Контролеров полагалось шестнадцать, под начальством одного главного. Они служили поочередно, по четыре в известную годовую четверть. На их обязанности лежало ведение счетов по обыкновенным и экстраординарным расходам королевской кухни. Они заседали также с правом голоса в хозяйственном совете. 660 ливров деньгами, столько же натурой, всего почти полторы тысячи, – таково было их содержание. Во время придворного обеда контролеры, со шпагою на боку, принимали участие в церемонии подачи блюд и собственноручно ставили их на королевский стол. «Говядина для Его Величества, – говорилось в параграфе 21 правил, составленных при Людовике XIV, – подается в следующем порядке: впереди идут два лакея, за ними столовый привратник, метрдотель с жезлом, дежурный камер-юнкер, главный контролер, *контролер-клерк* (мундшенк) и слуги с блюдом, хранитель посуды и др.» Будущий автор «Женитьбы Фигаро», надо думать, без особого увлечения исполнял свою обязанность. Его тянуло совсем в другую сторону, он, конечно, был не прочь вкусить от торжественности, но в соединении с большей прибылью.

У старика Франке была еще другая должность. Он был одним из контролеров военного интендантства. Кроме обычного жалованья, взятки с подрядчиков, прогоны на несовершавшиеся поездки и тому подобные «безгрешные доходы» делали этот род службы чрезвычайно прибыльным. Надо думать, что Франке именно здесь сколотил капитал на покупку пригородного имения Верлегран. Все это не ускользнуло от не по летам проницательного Бомарше. На кухне Его Величества было больше церемоний, чем прибыли, и молодой придворный – всего два месяца на службе – стал ухаживать за стариком Франке в надежде приобрести у него место в интендантстве. Но план не удался. 3 января 1756 года Франке

неожиданно умер от апоплексического удара в своем имении Верлегран. Право на место в интендантстве перешло к родственникам с его стороны. Но при дележе наследства между женою и этими родственниками одна сумма не могла быть принята в расчет: старик Франке умер, не успев получить причитавшуюся ему часть из награбленного им и его коллегами по интендантству. О существовании этих денег знала только жена Франке да Бомарше, как видно, тонко изучивший все права и преимущества интендантского контролера. Само собою разумеется, что коллеги Франке вовсе не думали о возвращении денег жене своего бывшего товарища, тем более, что отлично сознавали свою неуязвимость. Нельзя же было требовать от них по закону незаконно награбленных денег. Но Бомарше нашелся и здесь: слишком сильно было в нем желание разбогатеть, выбраться на дорогу, чтобы он мог упустить хотя бы и те 900 ливров, которые приходились на долю Франке. И вот, под именем аббата Арпажона де Сент-Фуа, мнимого духовника госпожи Франке, он начинает осаждать интендантских контролеров угрожающими письмами. Первое письмо было адресовано госпоже Франке и сопровождалось отдельным письменным наставлением вдове, как действовать, как читать казнокрадам послание всеведущего аббата. Бомарше-Арпажон советует ей прочесть письмо, прежде чем идти с ним к коллеге мужа, контролеру Жоли. «Если он спросит, кто автор письма, так хорошо знакомый со всеми обстоятельствами дела, скажи ему решительно, – пишет Бомарше, – что, не желая вредить ни интересам контролеров, ни своим, ты пригласила своего духовника, умного человека, и открыла ему секрет дела, как тайну на исповеди, и что важность этой тайны заставляет тебя скрыть ее от наследников, оставив за собою право вознаградить их, если ты будешь довольна ими и если они не причинят тебе никакого вреда. Не забудь сказать это, а также и всю *чепуху о духовнике…*» О «наследниках» упоминается во всех письмах аббата. Речь идет о родственниках с мужниной стороны: получив право на должность покойного Франке как интендантского контролера, они, конечно, могли претендовать и на ту сумму, о которой хлопотал Бомарше. Приходилось, таким образом, лавировать между Сциллой и Харибдой; нарушься тайна, и вырванное у казнокрадов могло попасть к родственникам старика Франке, минуя его жену и ее возлюбленного… Письмо аббата Арпажона к мадам Франке, рассчитанное на тонкий слух вороватых чиновников, было составлено Бомарше чрезвычайно ловко, для большей иллюзии с благочестивым началом: «Да будет благословенно имя Господне…» Однако контролеры не попались на эту удочку, и Бомарше пришлось показать им более

страшную для них перспективу, возможность вмешательства в дело различных высокопоставленных особ, министра и маршала де Ноайля. «Вы можете смеяться теперь над нашими угрозами, – писал Бомарше уже прямо к Жоли, – но если дела министра не позволят ему принять необходимые меры для уничтожения этого злоупотребления (т. е. взяточничества интендантов. – *Авт.*), я знаю другого человека, *моего родственника*, который будет очень рад случаю унизить ваше ведомство, это – маршал де Ноайль…» Мнимый аббат попал на этот раз в самое больное место интендантов. Жоли до того испугался, что, бросив прежнюю холодность, сам начал бегать в поисках своего таинственного корреспондента. Но «аббат» не находился, вместо него к Жоли пришел его *поверенный* Бомарше, и 900 ливров не замедлили поступить в распоряжение вдовы Франке.

Вся эта история происходила в апреле 1756 года, а 22 ноября, в том же году, состоялась свадьба Марии Обертэн, бывшей Франке, и Пьера-Огюстена Карона. С этой именно поры сын часовщика увеличивает свою фамилию прославленной им прибавкой – Бомарше. Так называлось имение Марии Обертэн, быть может, вымышленное, как думает Ломени. Ту же прибавку к фамилии Бомарше дал любимой своей сестре Марии-Юлии, обстоятельство, вызвавшее насмешку парламентского советника Гезмана. «Господин Карон, – писал советник в одном из мемуаров, – *занял у* одной из своих жен фамилию Бомарше и *одолжил* ее своей сестре».

По любви ли женился Бомарше на Марии Обертэн, или. по расчету, – позднейшие биографы писателя склоняются к последнему решению. Во всяком случае, он недолго жил со вдовою Франке. Она умерла меньше чем через год после свадьбы, 29 сентября 1757 года. Эта скорая кончина, или, вернее, желание очернить во что бы то ни стало, дало повод врагам Бомарше распускать слух, что он отравил свою жену. «Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?» – говорит у Пушкина Моцарт. «Он слишком был смешон для ремесла такого», – отвечает на это Сальери. По мнению же Моцарта, это – неправда еще и потому, что Бомарше – гений, «а гений и злодейство две вещи несовместные»… Но есть и более прозаическое опровержение клеветы, возведенной на Бомарше его врагами. Его «злодейство» не могло, конечно, быть злодейством an und für sich[2], оно должно было иметь какую-нибудь цель, и вот именно этой цели в данном случае не оказывалось. Никакая страстная любовь к «другой» не волновала в это время Бомарше, он мог мечтать, пожалуй, в случае смерти жены, о присвоении ее капиталов, но для этого надо было запастись соответствующим завещанием своей жертвы и потом уже убивать эту

жертву. На самом деле нельзя допустить и этого: жена Бомарше умерла, не оставив завещания, и все ее имущество перешло к ее родичам.

Вместе с женою Бомарше лишился временного богатства, какое доставляло ему состояние вдовы Франке. Камзол «уксусного цвета», лучшая одежда его до женитьбы, опять оказывался к его услугам и, надо думать, та мизантропия, с которой он познакомился еще в детстве. От нечего делать он обратился к музыке, столь возмущавшей его отца. Во Франции входила в это время в моду арфа, и Бомарше, страстный любитель всякой новинки, набросился на этот инструмент. Как и в часовом деле, он и здесь не замедлил отличиться изобретением: он усовершенствовал педали арфы, и вскоре по Версалю распространилась весть о нем как об искусном арфисте. Молва об этом не замедлила проникнуть также в монотонное уединение дочерей Людовика XV, так называемых mesdames de France[3]. Снедаемые скукой, они коротали свое время, увлекаясь то математикой, то часовым мастерством, но больше всего и с большим постоянством игрою на разных музыкальных инструментах, начиная с рожка и кончая барабаном. Их сейчас же заразило модное увлечение арфой, они пожелали услышать игру Бомарше, тем более что хорошо помнили его подвиги как часовщика, а его звание придворного, хотя бы только контролера отчетности на королевской кухне, не могло нарушить придворного этикета. Старик Карон ошибся, когда писал сыну, что его погубит увлечение музыкой. Бомарше так очаровал принцесс своею игрою на арфе, что они немедленно выразили желание учиться на этом инструменте, а Бомарше иметь своим учителем. Уроки пошли чрезвычайно успешно, и вскоре в апартаментах принцесс начали устраиваться еженедельные концерты в присутствии короля, королевы Марии Лещинской, дофина и множества придворных. Бомарше был распорядителем и душою этих концертов. Сын часовщика, он обнаруживал при этом большое уменье ориентироваться в блестящем аристократическом обществе. Король явно выражал ему свое благоволение и во время одного из концертов даже уступил ему свое кресло, слишком желая послушать игру Бомарше, чтобы считаться рангами. Еще удивительнее искусство, с каким фатоватый арфист сумел привлечь к себе симпатии дофина, человека серьезного, вечно занятого и к тому же благочестивого. «Это единственный человек, который говорит мне *истину»*, – так выражался дофин о Бомарше. О симпатиях к арфисту со стороны принцесс нечего и говорить: они были буквально влюблены в этого нарушителя их скучной жизни. Иначе относились к нему придворные. Его успехи у членов королевского семейства, успехи,

грозившие в представлении этих искателей каким-нибудь возвышением в ущерб их интересам, не замедлили создать вокруг него постепенно возраставшую неприязнь. Мало-помалу вокруг Бомарше образовался, по выражению Лагарпа, очаг скрытой, но яростной ненависти, начались мелкие уколы по адресу выскочки и проходимца, намеки на прежние занятия часовым мастерством. К великой досаде противников Бомарше он чрезвычайно ловко парировал их злобные выходки. Однажды, когда он выходил из апартаментов принцесс, к нему приблизилась группа придворных, после чего один из них, при плохо скрытом одобрении остальных, обратился к нему со следующей речью. «Милостивый государь, – начал он, – вы слывете знатоком часового дела, соблаговолите, прошу вас, осмотреть мои часы, они испортились». – «Милостивый государь, – невозмутимо ответил Бомарше, – с тех пор, как я перестал заниматься этим делом, я сделался очень неловок». Но придворный стоял на своем. «Прекрасно, – сказал ему Бомарше, – но предупреждаю вас, я очень неловок»; затем, приподняв часы, как будто рассматривая их механизм, он уронил их на землю и, рассыпаясь в извинениях, с почтительным поклоном удалился. В другой раз кто-то донес принцессам, что Бомарше очень дурно обращается со своим отцом. Принцессы пришли в негодование, их расположение к веселому арфисту готово было смениться немилостью, но Бомарше и тут не дал восторжествовать своим врагам. Он хорошо знал час обычной прогулки своих покровительниц в Версальском парке и, захватив с собою отца, в этот именно час стал прогуливаться по королевскому саду, постоянно попадаясь на глаза принцессам. Вечером он явился к Их Высочествам, чтобы дать урок музыки. Его встретили очень холодно, но мало-помалу выработавшаяся в уединении привычка расспрашивать обо всем каждого свежего человека победила недовольство принцесс. Они осведомились у Бомарше, кто был старик, с которым он прогуливался по парку, и чрезвычайно удивились, услыхав об отце… Бомарше не дал остыть их удивлению, он распространился о своем отце… Старик так хотел осмотреть королевский сад, а теперь сгорает от желания увидеть Их королевских Высочеств… Он еще не ушел, он ждет в прихожей… Принцессы совсем были обворожены, старику Карону было дано разрешение войти в их апартаменты, а когда он покинул эти апартаменты, от клеветы на его сына не осталось уже ничего.

В отношении к Бомарше некрасивых затворниц, какими были дочери Людовика XV, несомненно существовало чувство более нежное, чем простое расположение к веселому собеседнику. Доказательство этому можно усмотреть в истории с веером. Этот веер был подарен принцессам в

память их концертов и потому был украшен изображением одного из таких музыкальных вечеров с фигурами как участников, так и слушателей, кроме инициатора – Бомарше. И вот, показывая подарок своему учителю музыки, принцессы объявили ему, что не желают иметь этого веера, потому что на его «картине» нет того, кому следует отдать первое место. Злоба врагов Бомарше могла лишь увеличиться от этих слов Их Высочеств. Бывший часовщик грозил окончательно лишить их расположения дочерей Людовика XV. Дело дошло, наконец, до открытого столкновения. По рассказу Гюдена, подтверждаемому письмами Бомарше, одна знатная особа – ее имя осталось неизвестно – под влиянием придворных сплетен так тяжко оскорбила будущего писателя, что ему пришлось восстановить свою честь дуэлью. К несчастию для оскорбителя и к счастию для Франции, Бомарше убил своего противника, но лишь расположение принцесс и поддержка короля, замявшего историю, спасли слишком ярого защитника своей чести от мщения родственников убитого. По словам Гюдена, этот человек тоже не хотел называть своего противника, несмотря на расспросы его близких. Он будто бы сожалел, что оскорбил такого человека, как Бомарше, и еще на месте дуэли, обливаясь кровью, советовал ему бежать: «Спасайтесь, спасайтесь, господин Бомарше, вы погибли, если вас увидят около меня, если узнают, что вы лишили меня жизни»…

Но, кроме столкновений с придворными, Бомарше испытывал и другие неудобства своей близости к принцессам. Mesdames de France постоянно заваливали его поручениями, не всегда снабжая деньгами. «Милостивый государь, – писала ему в таких случаях камеристка Их Высочеств, – мадам Виктория желала бы поиграть сегодня на тамбурине и поручила мне сию минуту написать вам, чтобы вы как можно скорее приобрели для нее этот инструмент. Желаю вам избавиться от насморка, дабы быстрее исполнить поручение Ее Высочества»… За тамбурином следовала арфа, за арфой – флейта, смотря по изменчивому желанию какой-нибудь из принцесс, и, надо думать, под градом этих поручений Бомарше пытался отговариваться «насморком»… Инструменты требовались для принцесс, конечно, дорогие, потом ноты, книги в дорогих же переплетах с золотым обрезом и с гербами, а между тем деньги уплачивались за это много дней спустя после покупок. Бомарше влезал в долги и в то же время стеснялся представлять своим покровительницам счета по сделанным для них издержкам… Без сомнения, он не того ожидал, когда был позван в первый раз на половину Их Высочеств. Ему, вероятно, грезилось тогда быстрое возвышение, какая-нибудь доходная должность, вроде контролера по военному интендантству, на деле же оказались одни

хлопоты, вражда сослуживцев и платоническое расположение принцесс. Мизантропия сильнее, чем когда-либо, овладевает в эту пору его душой… В придворной сфере он не бросал своих литературных попыток и, как видно, усердно пополнял недостатки своего образования. Очень может быть, что жажда самообразования возникла у него из того же желания блистать, превосходить других, которое так раздражало его противников… Золотообрезные книги, конечно, не только прочитывались принцессами, но, вероятно, вызывали с их стороны кое-какие размышления о прочитанном, и Бомарше поневоле приходилось быть au courant[4] французской литературы. Впрочем, вкус к этой литературе он получил гораздо раньше: почти все Кароны, от старого до малого, были страстными любителями чтения.

Как отражение мизантропического настроения Бомарше, придворного и учителя музыки, сохранилась его поэма «Оптимизм». Бомарше ополчается здесь против добродушного мнения, в духе доктора Панглоса, что все хорошо на белом свете. Сама природа, по его словам, говорит не в пользу оптимистов, стужа в одних странах, убийственная жара в других, вихри, бури и прочее, наконец, сам человек. Едва вступив в свет, он уже страдает, пережив младенчество, осаждается страстями, пороками, суетится, борется и, в заключение, стареет, становясь обладателем единственного сокровища – скуки.

«И после этого говорят, что все прекрасно в мире!..» «Но почему же, в таком случае, – спрашивает пессимист Бомарше, – у меня отнята моя свобода? Тысячи воплей подымаются к небесам, повсюду стонет человечество. Его делают *рабом в* Сирии, уродуют в Италии, его судьба напоминает ад на Антильских островах и в Африке. Если ваша душа приятно тронута зрелищем всего этого, скажите мне, любезнейшие резонеры, в силу какого *естественного права* (loi préétablie) унижено мое существо, если ясные свидетельства священной истории и мое чувство говорят мне, что Творец создал меня свободным, а между тем я – раб. Злой ли, или нечестивый я человек, если с горестью восклицаю после этого: все очень скверно на белом свете?..» «При виде всего этого, – спрашивает Бомарше, – могу ли я разделять оптимизм доктора из Вестфалии, который, несмотря ни на что, утверждает, что всё хорошо на белом свете?..»

Доктор из Вестфалии, как известно, бессмертный Панглос Вольтера, – таким образом, поэму против оптимизма можно рассматривать как результат не только личного опыта поэта, но и чтения знаменитых современников: Вольтера, Дидро, Д'Аламбера и других… В глазах Ломени пессимизм Бомарше далеко не представляется глубоким, так как поэт все-

таки находит возможность утешиться хоть на минуту… в объятиях красавицы Софии. Действительно, чувство, вызвавшее его филиппику против Панглосов, вытекает у него из сознания ненормальности не мира, а житейского склада, это стон одного из представителей «игрою счастия обиженных родов», могучей личности, жаждущей свободы, полного удовлетворения требований своего «я», но – увы! – оттертой от всего этого расшитыми задами патентованных и привилегированных, говоря о французском обществе XVIII столетия. Дайте ему свободу действовать и жить – и, вчерашний пессимист, он поразит вас своей жизнерадостностью, если хотите, оптимизмом. Но пока этого нет, он глубоко искренен в своем мрачном настроении…

Глава III. Бомарше и Пари-Дювернэ

Происхождение и значение Дювернэ. – Причина знакомства его с Бомарше. – Бомарше – компаньон Дювернэ. – Бомарше – секретарь короля. – Новые поиски лучшего. – Отказ Карона-отца от торговли. – Столкновение сына с надзирателями вод и лесов. – Бомарше – генерал-лейтенант королевской охоты. – Бомарше и Клавиго. – Успехи Бомарше в Испании и его проекты.

Жизнь Бомарше очень рано и навсегда складывается таким образом, что улыбки судьбы постоянно сменяются для него тяжелыми ударами. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что Франция XVIII века – царство личного усмотрения и протекции… В то время, как Бомарше в поэме «Оптимизм» делал сатирический обзор Европы, другой человек тоже присматривался к своим современникам с беспокойной мыслью, где бы отыскать нужного проворного помощника. Этим человеком был Пари-Дювернэ. Один из четырех сыновей трактирщика в провинции Дофинэ, Пари-Дювернэ, как и его братья, без сомнения, всеми правдами и неправдами, сделался миллионером. Французское дворянство теряло в эту пору, вместе с деньгами и поместьями, свое прежнее влияние. При королевском дворе начинают появляться люди темного происхождения, но с туго набитыми кошельками. «Братья Пари, – писала в 1743 году мадам Тенсен герцогу Ришелье, – должны быть приняты во внимание. У них много друзей, всевозможные ходы и выходы и много денег для оплаты этих ходов и выходов. Подумайте после этого, сколько могут они сделать добра и зла». Мнимый родственник мнимого аббата Арпажона, маршал де Ноайль презрительно называл Пари-Дювернэ генералом от муки (le général des farines), намекая на его аферы с поставками продовольствия войскам, зато маршал де Сакс считал миллионера более сведущим в политике и военном деле, чем де Ноайль…

На старости лет, скучая среди груд золота, Дювернэ сделался распространителем образования. Благодаря королевской наперснице Помпадур он получил разрешение основать военную школу. Постройка была затеяна на широкую ногу и через девять лет после королевского разрешения, в 1760 году, все еще не была окончена. Но Дювернэ уже вербовал молодых людей, первых учеников своей школы; одно не давалось ему, несмотря на все его влияние и щедро рассыпаемые деньги. Богач добивался, чтобы король посетил его сооружение, однако, без всякого

успеха. Как вдруг его осенила счастливая мысль, что не удающееся ему, миллионеру, может удаться бедному, но обретающемуся в фаворе арфисту Бомарше. А наш пессимист, конечно, только и ждал какого-нибудь «движения воды», чтобы расправить свои крылья. Он сейчас же откликнулся на зов Дювернэ, и не успел богач изложить ему суть своих желаний и наград за их исполнение, как военную школу уже посетили mesdames de France, в сопровождении своего любимца, а затем и сам Людовик. Богатый старик был вне себя от радости, но не меньше была и радость Бомарше. Из бедняка, изнывающего на побегушках, он вдруг сделался богатым человеком, финансистом и компаньоном миллионера Дювернэ. «Дювернэ, – писал Бомарше, – ввел меня в финансовую сферу, где, как известно, был первым человеком. Я зарабатывал свое состояние под его руководством, по его совету я сделал несколько предприятий: в одних он снабжал меня своим опытом, в других – своими деньгами и кредитом». Но не одних денег хотелось Бомарше; пример Дювернэ и других красноречиво говорил ему, что во Франции нужно еще другое для полного успеха: приобрести себе так называемую savonnette à vilain (купленный дворянский чин). Для этого требовались деньги, но здесь уже не было остановок для близкого друга Дювернэ, – мешали торговля и профессия отца.

«Если бы я имел свободу, – писал Бомарше к своему отцу 2 января 1761 года, – выбирать желательный для меня новогодний подарок от вас, я больше всего хотел бы, чтобы вы вспомнили обещание переменить свое звание. *Дело,* конец которого я подготовляю, может встретить только одно затруднение, вашу лавку, так как вы говорите о ней публике своей вывеской. Я не думаю, что вы откажете мне в этой милости, для вас безразличной, но способной все переменить в моей судьбе вследствие *глупой* манеры смотреть на вещи в этой стране. Не имея силы переменить предрассудок, я должен покориться ему, так как у меня нет другого пути к *возвышению,* чего я так желаю для нашего общего счастия и для счастия всей моей семьи…»

Без сомнения, не уважение к «прекрасной профессии» часовщика заставляло Карона-отца откладывать исполнение своего «обещания». Он поступал таким образом вследствие свойственного старым людям консерватизма, боязни риска на склоне лет, вследствие неуверенности, увенчаются ли еще успехом самолюбивые мечтания молодого человека. Но имя покровителя, Пари-Дювернэ, было слишком красноречиво, и старик сдался наконец на просьбы сына. Последовавшие обстоятельства не замедлили оправдать это решение. 9 декабря 1761 года королевским указом

Бомарше был утвержден в звании секретаря Его Величества. Savonnette à vilain досталась-таки пронырливому арфисту, еще раз потревожив желчь его противников. Вскоре, однако, этой желчи пришлось волноваться еще сильнее. Не успел Бомарше сделаться королевским секретарем, так сказать, отмыться от своего мещанства, как новая, еще более заманчивая перспектива открылась перед его глазами. Смерть очистила весьма доходную и не менее благородную должность главного смотрителя вод и лесов. Надзор за лесами и водами всей Франции распределялся между восемнадцатью департаментами, о доходах же чиновников этого ведомства можно судить по тому, что должность главного надзирателя оценивалась в 500 000 ливров. Уплату этой суммы обещал Пари-Дювернэ. Он был уверен, что Бомарше вернёт ее, если займется поставками для армии, добыть которые всецело зависело от того же Дювернэ. Оставалось только заручиться согласием короля. Все было пущено для этого в ход, содействие mesdames de France, личные связи Дювернэ; но и враги Бомарше не дремали, особенно те, к кому он метил в коллеги, другие надзиратели вод и лесов. Они указывали, главным образом, на неблагородное происхождение претендента: коллега из мещан заранее оскорблял занимаемые ими посты… Можно себе представить волнение Бомарше, только что заручившегося желанным «мылом»!.. Кто такие сами господа надзиратели вод и лесов, в должном ли порядке их собственные родословные?.. Над разрешением этого вопроса блестяще и ехидно потрудился находчивый секретарь Его Величества.

«Мой характер, мое положение, мои принципы, – писал он к министру, узнав о происках своих врагов, – не позволяют мне разыгрывать гнусную роль доносчика, еще менее стремиться унизить людей, собратом которых я намерен сделаться. Но я вправе, кажется, не оскорбляя ничьей деликатности, обратить против моего противника оружие, которым он хочет поразить меня. Главные надзиратели не позволяют мне ознакомиться с их заявлениями. Это – нехороший прием, и этот прием обнаруживает их боязнь, что я отвечу им на основании фактов. Но я слышал, что они указывают на моего отца, который был ремесленником, и находят, что, как бы ни был человек знаменит в этой профессии, его звание несовместимо с почетною должностью главного надзирателя. Мой ответ на это – обозрение фамилий и прежних занятий некоторых из главных надзирателей, для чего у меня имеются весьма точные данные. Пункт первый, – г-н Дарбонн, орлеанский главный надзиратель и один из моих самых горячих противников, на самом деле Герве. Он – сын *парикмахера* Герве. Я могу назвать десяток лиц еще живых, которым этот Герве продавал и

приготовлял парики. Однако же Герве-Дарбонна приняли в число главных надзирателей *без оппозиции*, хотя в своей молодости он, может быть, шел по стопам своего отца. Пункт второй, – г-н Маризи, занявший место бургонского главного надзирателя тому назад пять или шесть лет, назывался Леграном. Он сын Леграна, который *трепал лен* в предместье Сен-Марсо, а потом снимал лавку на Лаврентьевской ярмарке, где и сколотил кое-какое состояние. Его сын женился на дочери Лафонтена-Селлье, принял имя Маризи и был допущен в главные надзиратели *без оппозиции*. Пункт третий, – г-н Телец, шалонский главный надзиратель, сын еврея Телеца Дакосты, сперва *ювелира-старьевщика*, а потом, благодаря Пари, богатого человека. Он был принят *без оппозиции*, но потом исключен, так как будто бы опять взялся за ремесло отца, чего я не знаю. Пункт четвертый, – г-н Дювосель, парижский главный надзиратель, сын *пуговичника*, был подмастерьем у своего брата на Железной улице, компаньоном его же и наконец сам держал лавку. Г-н Дювосель не встретил *никакого препятствия* принятию его в надзиратели…»

Весь этот ехидный розыск не принес, однако, пользы Бомарше. Хлопоты его врагов увенчались успехом, и вакантная должность была замещена другим лицом, более высокородным, чем сын часовщика. Но не погибло и «дело», о котором писал Бомарше своему отцу. Секретарь Его Величества все-таки протерся в высшие ряды французской администрации. Он купил себе должность генерал-лейтенанта королевской охоты в луврских уездах и округах. Старше Бомарше в этом капитанстве, – так называлась территория, предназначенная для королевской охоты, – был один лишь герцог Лавальер, зато и подчиненные его были не менее сановиты: Рошшуар и Маркувиль – оба графского достоинства. Это обстоятельство, надо думать, несколько смягчало негодование Бомарше при мысли об оппозиции господ главных надзирателей вод и лесов. Сама должность генерал-лейтенанта королевской охоты едва ли была ему по душе, роль судьи нарушителей прав венценосного охотника часто вызывает у него саркастические замечания.

Герцог Лавальер почти совсем не вмешивался в дела капитанства, так что Бомарше являлся фактически главным блюстителем королевских интересов. Охраной этих последних заведовал особый трибунал, «трибунал-охранитель удовольствий короля» (tribunal conservateur des plaisirs du roi). Заседания этого судилища происходили каждую неделю под председательством Бомарше в длинном платье юриста, сидящим на кресле с белыми лилиями. Будущий автор «Севильского цирюльника» судил здесь, по его собственному выражению, не только «бледное человечество»,

но и «бледных кроликов». Бледные кролики, конечно, были безответны, но бледное человечество (чаще всего – увлекающиеся родовитые охотники) нелегко мирилось с обвинительными приговорами Бомарше и никогда не упускало случая насолить своему Соломону, хотя бы и задним числом. В должности генерал-лейтенанта королевской охоты Бомарше пробыл десять лет, с 1763 года по 1773-й, с перерывом на целый год. В 1764 году старик Карон получил из Мадрида известие, что предполагаемый жених его дочери Лизетты, Жозеф Клавиго, вдруг отказался от своей невесты, как только заручился местом королевского архивариуса. В Мадриде многие знали будто бы о Клавиго как будущем муже девицы Карон, так что отказ испанца являлся оскорблением девичьей чести последней. Это обстоятельство и было причиной перерыва в деятельности Бомарше в качестве охранителя королевских потех, причиной его путешествия в Испанию. Так объясняется это самим писателем в четвертом мемуаре против Гезмана, так же изображен Бомарше в драме Гёте «Клавиго»: Бомарше – восстановитель чести сестры. Гете написал свою драму, руководясь названным мемуаром. Он был знаком с испанскими приключениями Бомарше под пером того же Бомарше, но другие документы проливают на эту историю совершенно иное освещение или два освещения одновременно… Надо заметить, что оскорбленная девица Карон значительно приукрашена в данном случае. Невинной жертве Клавиго было в это время *тридцать три* года, т. е. гораздо больше, чем самому Бомарше и даже Клавиго. Гораздо правдоподобнее поэтому допустить, что жертвой был «вероломный» жених, а не наоборот, хотя и Клавиго во всей этой истории не является вполне безукоризненным человеком. Но если допустить даже, что девица Карон, которой тринадцатилетний брат смело расписывал о «товарище другого пола», в тридцать три года оказывалась какой-то наивной институткой, а Бомарше ехал в Испанию восстанавливать ее честь, впрочем, с некоторым сомнением в правдивости мадридских корреспонденток, то зачем понадобились оскорбленному брату 200 тысяч франков Пари-Дювернэ, а он действительно захватил эти тысячи? Ответом на это может служить хронологическая справка: Бомарше пробыл в Испании двенадцать месяцев, тогда как инцидент с Клавиго был улажен в течение одного. Взволнованный мститель за честь сестры приехал в Мадрид 18 мая, 19-го он заставил Клавиго подписать свидетельство о добром поведении девицы Карон и вероломстве ее жениха, и после нескольких дней колебаний с обеих сторон, со стороны Клавиго – готовности жениться или нет на Лизетте, со стороны Бомарше – желания отомстить «злодею» или

простить, 18 июня 1764 года в семье Каронов не было уже речи о пресловутой свадьбе, а в королевском архиве не было уже бывшего архивариуса дона Жозефа Клавиго. Бомарше восстановил честь своей сестры, добился наказания ее оскорбителя и затем… надолго остался в Испании.

Все это время, одиннадцать месяцев, он вращается в высшем мадридском обществе, совершенно как равный с равными. У графа Бутурлина, русского посланника, он играет в карты и с большим достоинством требует от него выигранные, но неуплачиваемые деньги. Еще ближе стоял он к графине, даже воспевшей его в стихах. В графских салонах устраивались музыкальные вечера, и Бомарше пел на них и сочинял для них песни на манер испанских сегидилий, там же ставили оперу Руссо «Le devin du village»[5], причем Бомарше играл Любена, а Бутурлина – Аннету. То же расположение и восхищение питал к нему английский посланник лорд Рошфорд… Все письма Бомарше из Испании проникнуты неподражаемым весельем и необыкновенной бодростью; о Клавиго говорится в них только вначале, в виде довольно сухого сравнительно отчета старику Карону. Но не веселье занимало на самом деле французского путешественника: он предавался веселью только в виде отдыха, не без задней мысли, что все эти посланники и их гости – нужные люди, с которыми необходимо ладить. Остальную часть времени Бомарше посвящал деловым хлопотам. Беззаботный, заразительно веселый собеседник в салонах, он сочинял у себя дома проект за проектом в расчете на податливость испанского правительства. Здесь не в первый и не в последний раз опять раскрывается «эластическая» натура Бомарше, девиз его деятельности, если не совсем, то очень близко определяющийся словами ubi bene ibi patria[6], немножко в стиле русской пословицы – где кисель, там и сел. Он состоял в это время в переписке с Вольтером, и когда Вольтер спросил его, как он находит Испанию, он ответил, что сказать это можно, только уехав из Испании. Несмотря на это, он льстил и заискивал перед испанским правительством, и даже больше – он хотел взять концессию на то, что бичевал в своей поэме «Оптимизм», и предлагал основать общество для снабжения *невольниками* испанских плантаторов в Америке. Другой его проект – образование французской торговой компании наподобие Ост-Индской, с монопольным правом торговли в Луизиане, третий – колонизация Сьерры-Морены, четвертый – проект мер для поднятия в Испании земледелия, промышленности и торговли, и, наконец, пятый – план снабжения провиантом испанской армии…

Не одна жажда наживы руководила прожектерством Бомарше. Это прожектерство было потребностью для его могучей натуры, как сильные движения для здорового организма. Своей неутомимой энергией и широтою замыслов он напоминает знаменитых завоевателей, мечтавших о царстве от моря до моря, людей, которых Альфиери называет за грандиозные порывы их духа – людьми-растениями. Бомарше был одним из таких людей-растений. «В конце концов, – писал он отцу из Мадрида, – ты меня знаешь, любезный батюшка. Моей голове не чуждо ничто из самого широкого и возвышенного: она одна понимает и охватывает то, что заставит отступить дюжину обыкновенных и неподвижных умов…» Но и дюжина обыкновенных умов способна побеждать один необыкновенный; Бомарше так и уехал из Испании, не добившись осуществления ни одного из своих проектов.

Глава IV. «Евгения» и «Два друга»

Причины драматических попыток Бомарше: его характер, сочувствие к несчастным, влияние Дидро. – Предисловие к «Евгении». – Общественное значение сентиментализма. – Сюжет «Евгении». – Цензурные затруднения. – Старания Бомарше заручиться успехом. – Первое представление «Евгении». – «Евгения» за границей Франции. – Вторая драма Бомарше. – Ее сюжет и представление. – Автобиографическое значение «Двух друзей». – Бомарше и Полина. – Вторая женитьба его. – Душевное спокойствие накануне бури.

На литературном поприще будущий автор заразительно веселых и остроумных комедий «Севильский цирюльник» и «Свадьба Фигаро» Бомарше выступает сначала с сентиментальными драмами «Евгения» и «Два друга». Три причины вызывают этот несколько странный литературный дебют, странный, конечно, теперь, при возможности ретроспективного взгляда на деятельность писателя… В семье Каронов все, от мала до велика, чрезвычайно увлекались сентиментальною литературой. Старик Карон даже сравнивал своего сына с героем ричардсоновского романа Грандисоном. «В каких только случаях, – писал он, – не нахожу я верного и благородного сходства между Грандисоном и моим сыном! Отец своих сестер, друг и благодетель своего отца, если Англия, говорю я себе, имеет своего Грандисона, у Франции есть свой Бомарше. Разница лишь в том, что английский герой – только фикция нежного писателя, а французский Бомарше существует на самом деле»…

Это было написано в 1764 году, и как раз в эту эпоху происходила черновая работа писателя над драмой «Евгения». Чувствительное настроение автора пронизало и его произведение, личная склонность к сентиментальности намечала сюжет и его развитие. Таким образом, первая причина драматических опытов Бомарше – личная склонность самого драматурга. Эта склонность была наследственною чертою Каронов, лишь сильнее подчеркнутою в знаменитом представителе этой фамилии. Бомарше никогда не терял этой особенности. Все проявления души всегда получают у него необыкновенное напряжение: его веселье заразительно, его ирония убийственна, мизантропия мрачна до отчаяния, жизнерадостную улыбку сейчас же готовы смыть с его лица неудержимые слезы. Можно думать, что эта быстрая смена ощущений одинаково сильных и глубоких – особенность гениальных людей; расчетливый, как

математик, полководец Наполеон не чужд был внезапным приступам плаксивости.

Вторая причина драматических попыток Бомарше – в близком родстве с его пессимизмом, страдание добродетели и торжество порока. Сыну часовщика, как и сыну обойщика Мольеру, лучше других известны были и это страдание, и это торжество; он мог бы насчитать не один десяток Евгений, униженных без отмщения, и как только их образы появляются в его воображении, слезы блестят на его глазах… Но первая и третья причина – вот где главные двигатели Бомарше-драматурга. Драма была новостью во Франции XVIII века, она пришла на смену трагедии и комедии; Дидро, по выражению Ломени, был ее Колумбом, а Бомарше потянуло на роль Веспуччи. Его всегда увлекало все новое, неизведанное: знакомство с испанскими сегидильями и интермедиями сейчас же делает его автором и тех, и других, знакомство с драмами Дидро «Побочный сын» (Fils naturel) и «Отец семейства» (Pére de famille) превращают его в драматурга. Таким образом, увлечение новым – третья причина первых дебютов Бомарше.

Драматическая поэтика Бомарше отмечена влиянием времени. Литературное движение, породившее драму, не исчерпывалось одним желанием новаторов создать новую художественную форму. В XVIII веке, по крайней мере на европейском Западе, совершается великий социальный процесс: на арену деятельности, влияющей и руководящей, вступают или стремятся вступить новые сословия. Литературе поэтому могло грозить забвение и ненужность, если бы она упустила это движение. Но она слишком повинна была в его возникновении, чтобы не взлелеять его первых ростков и не дать этим росткам потребной для них пищи. Таким образом, сложилась драма, которую Дидро называет домашней или мещанской, литературное отражение интересов и стремлений более широкого общественного круга. Этот же мотив слышится и в предисловии Бомарше. Чем вызывается, спрашивает он, интерес, возбуждаемый в нас царями и героями трагедии? «Мы любим, – по его мнению, – роль сочувствующих несчастному принцу, потому что его горести, слезы и слабости как бы приближают его положение к нашему. Но если наше сердце имеет какое-нибудь значение в нашем интересе к героям трагедии, то гораздо менее потому, что они герои или короли, но потому, что они – люди и несчастные». Одним словом, автор «Евгении» требует от драмы верного изображения жизни со всеми ее дурными и хорошими сторонами и, что особенно характерно, – нравоучения, урока.

«Неизбежные удары судьбы, – говорит он о трагедии древних, – не

дают уму никакого нравственного направления. Если можно извлечь из зрелища подобного рода какое-нибудь назидание, это назидание было бы ужасно. Оно увлекло бы на путь преступлений столько же душ, для которых судьба была бы оправданием, сколько пошатнула бы их на пути добродетели, так как при этой системе все усилия последних не гарантируются ничем. Если нет добродетели без жертв, то нет и жертвы без надежды на вознаграждение. Фатализм принижает человека, отнимая у него свободу, вне которой нет никакой нравственности в поступках».

Эту тенденцию Бомарше к морализированию в литературе также можно рассматривать как знамение времени. Когда в обществе создается потребность новых социальных форм, накануне революции оно всегда обнаруживает этот запрос на личную нравственность и на средства создания этой нравственности.

Сюжет «Евгении» в основных чертах Бомарше заимствовал из «Хромого беса» Лесажа. Дочь валлийского дворянина Евгения страстно влюбляется в лорда Кларендона, а этот лорд Кларендон фиктивно женится на ней, переодев священником своего управляющего. Он готовится на самом деле вступить в другой, более выгодный брак, и с этого именно начинается драма: беременная Евгения приезжает в Лондон в полной уверенности, что она законная жена лорда Кларендона, отца ее ребенка. Вид обманутой девушки так поражает вероломного аристократа, что он решается жениться на ней уже по закону, – таково заключение драмы. До представления в цензуру «Евгения» носила совсем другой колорит, лорд Кларендон назывался маркизом Розампре, сыном военного министра, а его жертва, героиня драмы, – дочерью бретонского дворянина Кербалека. Французский пейзаж и французские имена не получили, однако, цензурной санкции, и Бомарше пришлось умерить оппозиционный характер своей драмы и придать ей английский couleur locale[7]. В таком виде «Евгения» была поставлена на сцене «Французской комедии», в первый раз – 29 января 1767 года. Как и в роли часовщика-изобретателя, драматург-новатор Бомарше не упустил случая подогреть общественное внимание и таким образом обеспечить успех своего произведения. Он старался заинтересовать своей драмой и своих покровительниц – mesdames de France, и семейство маршала де Ноайля, и влиятельного члена французской Академии, герцога де Нивернуа, а бесплатным билетом на первое представление пытался расположить в свою пользу сурового критика Фрерона. Герцог де Нивернуа, познакомившись с рукописью «Евгении», сделал автору много дельных замечаний по поводу усмотренных недостатков; что касается Фрерона, то он разгадал маневр Бомарше и

отказался от бесплатного билета. Это не помешало ему дать о драме вполне беспристрастный отзыв с указанием как ее недостатков, так и достоинств. Совсем иначе отнесся к «Евгении» и ее автору известный Грим. «Это произведение, – писал он, – первый опыт г-на Бомарше на сцене и в литературе. Г-н Бомарше, как говорят, человек лет сорока (на самом деле – тридцати пяти – Авт.), богач, обладатель придворной должности, до сих пор джентльмен, а теперь *некстати* забравший в голову фантазию сделаться автором…»

Первое представление «Евгении» было неудачным, ее длинноты расхолаживали зрителей; но когда автор исправил эти недостатки ко второму представлению, драма имела полный и долго повторявшийся потом успех. Она пользовалась этим успехом не только во Франции, но и за границей: в Германии, Англии и даже России. В Англии она игралась отчасти в переводе, отчасти в переделке, под измененным названием «Школа развратников» (The school for Rakes). «„Школа развратников“, – писал об этом Бомарше знаменитый Гаррик, – скорее подражание, чем перевод вашей „Евгении“, – написана дамой, которой я рекомендовал вашу драму. Эта драма доставила мне величайшее удовольствие, и я думал, что из нее может быть сделана пьеса специально для английской публики. Я не ошибся, с моей помощью наша „Евгения“ постоянно заслуживала аплодисменты многочисленных зрителей». На русский язык, к великой досаде Сумарокова, драма Бомарше была переведена Николаем Пушниковым и ставилась в Москве с феноменальным успехом с Дмитревским в роли Кларендона. Русское общество, как и французское, тоже переживало в эту пору полосу сентиментальности, заставлявшей потом читателей «Бедной Лизы» проливать горькие слезы, так что «Евгения» Бомарше оказывалась как нельзя более кстати. В техническом отношении эта драма написана чрезвычайно ловко, она сразу захватывает зрителя своим интересом, не ослабевающим до конца. Гораздо менее удовлетворяет она строгому разбору с психологической точки зрения. Примирение Евгении с развратным лордом, разыгравшим гнусную комедию фиктивного бракосочетания, производит впечатление неестественности и умаляет трогательный образ героини. Сюжет второй своей драмы «Два друга» Бомарше взял из мира финансистов. Здесь отразилось его собственное увлечение коммерческими предприятиями и, вероятно, всеобщее внимание к финансам страны, которым отмечена Франция XVIII века. Главные герои Меляк и Орелли, первый – сборщик откупов, второй – лионский негоциант. Орелли нужно платить по счетам, но деньги, ожидаемые им из Парижа, запаздывают, и его делу грозит

крушение. Негоцианта спасает Меляк: добродетельный сборщик тайком переводит в кассу Орелли деньги, собранные с аренд и откупов. Узел драмы завязывается приездом ревизора. Ревизор требует отчета от Меляка, а тот затягивает дело, не желая прослыть вором и в то же время обнаружить временную несостоятельность Орелли и свою добродетельную проделку. Наконец все разъясняется и улаживается при посредстве того же ревизора, тоже добродетельного человека… Как ни силен был в ту пору интерес французов к финансовым сферам, «Два друга» не имели на сцене никакого успеха. Бомарше упустил из виду, что не механизм коммерческих сделок вызывал внимание французского общества, а отражение этих сделок на интересах страны. Чтобы несколько сгладить деловую сухость драмы, он ввел в нее романический эпизод, любовь Меляка-сына к Полине, племяннице Орелли. Но драма все-таки не имела успеха. «Гораздо лучше было бы, – писал по этому поводу Грим, – заниматься изготовлением хороших часов, чем покупать придворную должность, блистать хвастливостью и сочинять негодные пьесы». Современные остряки также прохаживались по адресу драматурга. «Два друга» были поставлены 13 января 1770 года и едва дотянули до десятого представления. Вот что говорили об этом куплетисты:

Я драму Бомарше видал
И в паре слов скажу, какая это пьеса:
В меняльной лавочке гремит златой металл,
Не возбуждая интереса.

В романическом эпизоде Меляка-сына и Полины отразился такой же эпизод из жизни самого писателя. Молодой Меляк, любитель музыки, – это сам Бомарше, а Полина – существовавшая в действительности и под тем же именем молодая девица, одно время невеста Бомарше. Их знакомство завязывается в 1760 году. Полина, – из боязни обидеть в 1853 году (!) вероятных родственников этой особы щепетильный Ломени не дает ее фамилии, – была родом креолка с острова Сан-Доминго. Она воспитывалась в Париже под присмотром тетки, отличалась прелестною фигурой и была к тому же наследницей большого имения в Капе стоимостью в два миллиона, но разоренного и обремененного долгами. Неизвестно, при каких обстоятельствах началось знакомство Полины с семьей Каронов, но во время испанских приключений Бомарше она считалась уже невестой этого последнего и, судя по его письмам, была

серьезно влюблена в него. Свадьба откладывалась только вследствие желания Бомарше устроить дела своей невесты. Он чрезвычайно много хлопотал об этом и послал в Сан-Доминго одного из своих родственников, снабдив его деньгами, всевозможными припасами и рекомендациями от mesdames de France к губернатору острова… Однако история с Полиной закончилась совершенно не так, как можно было ожидать по ее началу. В 1766 году молодая креолка вдруг охладела к своему жениху и потом вышла замуж за другого. Судя по раздражению, которым проникнуты в это время письма Бомарше, он действительно любил Полину, хотя беззаветное увлечение не вязалось с его неустойчивой натурой. Любовь слишком соединялась у него с расчетом, страстное увлечение сменялось почти равнодушием и холодностью. Но он все-таки любил Полину… У великих художников глубоко увлекавшие их женщины всегда оставляют след в произведениях как доказательство очарования, которое они производили на писателей. Такова Татьяна Пушкина, долгий спутник души поэта, вырывающий у него грустное восклицание:

А ты, с которой образован
Татьяны милый идеал, —
О много, много рок отъял!

Полина не так долго, но все-таки сопутствует Бомарше-художнику. Ее имя связано с «Двумя друзьями», оно же стоит вместо Розины в первых набросках «Севильского цирюльника»…

Период драматических опытов – пожалуй, единственная мирная полоса в полной треволнений жизни Бомарше. В 1768 году в апреле он женился на молодой вдове Женевьеве Левек, удвоив ее приданым свое благополучие. При помощи Пари-Дювернэ он купил в это время у государства громадный Шиннонский лес и с увлечением занимался торговлей тесом и бревнами. Безмятежное спокойствие едва ли не в первый раз водворяется в его душе.

«Я живу, – писал он жене из Риварена вблизи своего леса, – в конторе, на ферме, настоящей крестьянской, между птичником и огородом, у живого забора. Моя комната, вместо обоев, с белыми стенами, меблирована скверной кроватью, на которой я сплю, как убитый, четырьмя соломенными стульями, дубовым столом и большим камином без всяких приспособлений. Зато в то время, как пишу тебе, я вижу из окна покрытые лугами склоны возвышенности, на которой живу. Коренастые и загорелые

мужики косят траву и нагружают ее на возы, запряженные волами; толпа женщин и девушек, с граблями в руках или на плечах, за работой наполняют воздух пронзительными песнями; они доносятся до моего стола; за деревьями, в отдалении, я вижу извилистое течение Индра и древний замок с башнями моей соседки, госпожи Ронсе. Надо всем господствуют вековые вершины деревьев, насколько хватает глаз все гуще и гуще до склонов гор, окружающих нас и, как кольцом, замыкающих наш горизонт. Эта картина не лишена очаровательности. Большой кусок хлеба, более чем простое кушанье, плохое вино составляют мой завтрак. Говоря правду, если бы я позволил себе пожелать тебе неудобства, недостатка во всем, я пожалел бы, что тебя нет около меня. Прощай, моя милая».

Каждое слово проникнуто здесь невозмутимым покоем и довольством, как будто никогда не волновали Бомарше ни тщеславие, ни жажда наживы, ни гордые замыслы гениального писателя. Так и кажется, что этот человек достиг, наконец, желанной тихой пристани и навсегда погрузится в кропотливую работу изо дня в день среди вековых шиннонских деревьев, в поэтической котловине Турени… Но это была только мирная, убаюкивающая прелюдия к борьбе на жизнь и смерть… Кратковременное безмятежное житие Бомарше с середины 1770 года начало рушиться по всей линии: 17 июля умер его покровитель Пари-Дювернэ, 21 ноября скончалась жена, оставив малолетнего сына. Omnia citra mortem (все, кроме смерти), – вот что явилось для Бомарше на смену риваренской идиллии…

Глава V. Бомарше и Гезман

Столкновение с Лаблашем. – Процесс. – Бомарше, Менар и Де Шон. – Столкновение с Де Шоном. – Бомарше в тюрьме Фор-Левек. – Французские парламенты при Людовике XV и раньше. – Реформа Мопу. – Советник Гезман и его жена. – Бомарше добивается аудиенций у советника. – Неожиданная развязка дела с Лаблашем. – Пятнадцать экю. – Письмо Бомарше к госпоже Гезман. – Бомарше опять под судом. – Мемуары против Гезмана. – Баккюлар, Деролъ и Марэн. – Общественные симпатии к Бомарше. – Приговор по делу с Гезманом.

Еще до 1770 года Бомарше не раз просил Пари-Дювернэ свести их взаимные денежные счеты, но старик все откладывал это в долгий ящик. Вероятно, эти итоги казались ему зловещим призраком смерти, и он отдалял от себя все, что говорило о ней. Наконец, 1 апреля 1770 года счеты обоих компаньонов были урегулированы, причем Дювернэ признал, что Бомарше не только ничего не должен ему, но может еще получить с него когда угодно 15 тысяч франков. Сверх того старик обязывался тою же бумагой, за его подписью и с приложением копии, одолжить Бомарше 75 тысяч франков, сроком на 8 лет, и притом без всяких процентов. Последовавшая в июле того же года смерть Дювернэ оставила условия приговора без исполнения и принудила Бомарше считаться с наследником миллионера. Этим наследником был двоюродный внук Дювернэ, благодаря деньгам своего родственника – генерал-майор и граф Лаблаш. Каково было его отношение к компаньону и кредитору деда, об этом можно судить по его словам: «Я ненавижу этого человека, как любовник обожает свою любовницу»… Лаблаш не отказался от этих слов и, на просьбу Бомарше уплатить по счетам Дювернэ, объявил, что не признает подписи своего деда действительной и весь документ считает подложным. Затем он подал в суд прошение об уничтожении самого документа как содержащего признаки мошенничества и подлога. Прямым последствием этого прошения было требование от Бомарше уплаты тех сумм, которые признавались уплаченными в объявленном подложным документе. «Только таким образом, – говорил Кальяр, адвокат Лаблаша, – восторжествует правосудие и будут удовлетворены честные люди, видя, что подобный противник (т. е. Бомарше) запутался в сетях, им самим расставленных»… Процесс между графом Лаблашем и Бомарше начался в октябре 1771 года, но как ни велико было влияние богача, в первой

судебной инстанции он проиграл свое дело. Приговором суда 22 февраля 1722 года Лаблашу было отказано в иске, а 14 марта того же года дополнительное решение обязывало его уплатить Бомарше по подложному будто бы документу. Однако Лаблаш не успокоился на этом и подал апелляционную жалобу в так называемый парламент. К величайшему неудовольствию Бомарше и в такой же степени к невыгоде – на его имущество был наложен арест, – судебная волокита затягивалась, а неожиданное событие придало ей совершенно неожиданный исход.

Среди парижских знакомых Бомарше не было недостатка в высоких представителях французского общества. Малоизвестный сатирик Палиссо говорил о нем, что он «бессильная обезьяна своего божка Дидро, слишком темная личность для того, чтобы возбуждать интерес»… На самом деле Бомарше интересовались, и очень сильно, и не одни только сатирики, отрицавшие в нем как писателя всякий интерес. В его личности было много привлекательности, тянувшей к нему не только женские, но и мужские сердца. Особенно замечателен среди его друзей герцог Де Шон, вероятно, привязавшийся к Бомарше вследствие некоторого сходства в характере обоих. «Его характер, – говорит о Де Шоне Гюден, – представлял редкое собрание необыкновенных достоинств и недостатков». По словам того же Гюдена, ум сочетался у него с безрассудностью, гордость с неразборчивостью до потери всякого чувства собственного достоинства в отношениях с высшими, равными и низшими. Обширная память отличалась беспорядочностью, любовь к науке уживалась одновременно с неудержимым влечением к рассеянной жизни. Физически он был богатырь, настоящий герой «Илиады» в проявлениях как телесной, так и духовной силы. Частые припадки гнева делали его похожим на пьяного или дикого зверя. Его жизнь была полна почти сказочных приключений. В течение пяти лет ему было запрещено появляться во Франции, и, чтоб убить свое время и богатырские силы, он путешествовал в эту пору по разным странам, в Египте осматривал пирамиды, в пустынях Аравии посещал палатки бедуинов, собирал коллекции и среди прочего привез с собою в Европу обезьяну, которую бил каждый день. Он был страстный любитель химии и даже сделал в этой области кое-какие открытия. Как во все, он и сюда вносил свою эксцентричность, и раз, желая испробовать на себе действие изобретенного им снадобья против асфиксии, забрался в стеклянную камеру и стал удушать себя, приказав лакею в назначенное время пустить в ход изобретенное лекарство.

У этого человека была любовница, талантливая и очаровательная актриса Менар, ради него покинувшая сцену. В награду за это Де Шон

устраивал ей такие необузданные сцены ревности, что она начала бояться его больше, чем любить. Познакомясь с Бомарше, герцог так увлекся им, что, забыв о своей ревности, поспешил привести его к девице Менар. Однако немного времени спустя ему стало казаться, быть может, не без основания, что его друг начинает нравиться Менар больше его, Де Шона. Взрыв дикой ревности был предотвращен на этот раз прекращением визитов Бомарше к подруге приятеля, а вскоре и сама Менар ушла от буйного обожателя под защиту монастыря. Но привычка к светской жизни, как ни боялась она Де Шона, опять вернула ее в мир. Вместе с тем опять возобновились ее встречи с Бомарше, что оправдывало отчасти подозрения герцога. Впрочем, Бомарше в виде громоотвода счел нужным известить приятеля о своих визитах к Менар. «Вместо адской жизни, которую мы устраиваем ей, – писал он герцогу, – соединимся все, чтоб доставить ей приятное общество и тихую жизнь». Де Шон ничего не ответил на это письмо, и Бомарше несколько месяцев наслаждался обществом девицы Менар. Как вдруг 11 февраля 1773 года герцог нарушил свое молчание и неожиданно явился к своей возлюбленной. Он застал у ней Гюдена, впоследствии биографа Бомарше, но в момент события лишь молодого и очень робкого человека. Когда зашел разговор о писателе, Де Шон обозвал его плутом, а слезы Менар при этом слове окончательно взбесили его. «Вы любите его! – кричал он. – Вы унижаете меня, я сейчас вызову его на дуэль»… Он кинулся к дверям, затем на улицу. Гюден едва поспевал за ним, желая предупредить Бомарше. Но герцог, очевидно, избрал другую дорогу, потому что Гюден успел уведомить своего друга о грозящей ему опасности. «Он убьет разве своих блох!» – ответил на это Бомарше. Гюден встретил его на улице в карете по дороге в трибунал-охранитель удовольствий короля. Вероятно, отсюда проистекало философское спокойствие Бомарше. На самом деле положение вещей было гораздо серьезнее. Де Шон не на шутку собирался убить своего соперника… Не найдя Бомарше дома, он бросился в трибунал, дождался там конца заседания, несмотря на умышленную медленность Бомарше, и потребовал дуэли. Напрасно Бомарше просил объяснить ему, в чем дело, герцог не давал никаких объяснений и хотел драться, не медля ни минуты. Наконец после долгах препирательств – уже в карете, на улице – Де Шон согласился заехать к Бомарше и подождать у него до 4 часов дня, потому что Тюрпен, приглашенный им в секунданты, не мог прибыть до этого времени. Де Шон даже принял несколько комичное предложение противника пообедать. Но ярость с прежнею силою овладела им, как только он очутился у Бомарше. Он не хотел уже ждать секунданта, и вместо дуэли между соперниками

произошла рукопашная схватка при отчаянных усилиях отца и слуг Бомарше остановить расходившегося Де Шона. В дело вмешалась, наконец, полиция, а затем и маршальский суд, разбиравший столкновения джентльменов. По решению этого суда Де Шон был заключен в Венсеннский замок, а Бомарше оправдан. Но это решение не понравилось герцогу Лавальеру, и, вопреки приговору маршалов, он отправил Бомарше в тюрьму Фор-Левек. Как раз в эту пору предстояло вторичное разбирательство дела между писателем и наследником Дювернэ. Заключенный в тюрьму, к великой радости недремлющего Лаблаша, Бомарше лишился возможности хлопотать по своему делу. Отсюда ряд его писем все более и более покорного тона с просьбою разрешить ему выход из тюрьмы для посещения своего докладчика. В это же время он отказался от должности генерал-лейтенанта королевской охоты, мотивируя свой отказ тем же тюремным заключением. Неповинный узник, два с половиною месяца, до 8 мая 1773 года, Бомарше напрасно добивался своего освобождения. Что касается посещений докладчика, они были разрешены ему лишь через месяц после заключения в Фор-Левек. 22 марта герцог Лавальер согласился, наконец, на временный выход его из тюрьмы, но непременно в сопровождении сторожа и с обязательством возвращаться в место заключения сразу по окончании визитаций.

Вторичное разбирательство дела Бомарше и Лаблаша должно было происходить в парижском парламенте, преобразованном Мопу. Нелишне бросить беглый взгляд на историю этого преобразования, потому что суд над Бомарше был в то же время судом общества над парламентами, «переделанными» Мопу. Возникнув в противовес феодализму, парламенты после Ришелье постепенно расширяют сферу своей власти; из положения судей его члены мало-помалу стремятся перейти на роль законодателей. Отсюда – непрерывные столкновения их с королевской властью. Людовик XIV с его девизом «государство – это я» временно остановил это развитие децентрализации, но лишь оправдал тем в глазах французов необходимость этого явления. Среди столкновений развивающегося двоевластия общество начинало мало-помалу привыкать к оппозиции парламентов, связывать с нею защиту своих интересов, и когда члены этих парламентов подвергались преследованиям центрального правительства, их встречали в провинциях пением гимнов, иллюминацией, фейерверком и депутациями. Людовик XV не замедлил почувствовать, что «государство – это я», с переменой я на *мы*, с большим правом, чем он, могли сказать о себе парламенты. Но неминуемый исторический факт дальнейшего развития парламентов был отсрочен канцлером Мопу. 7 декабря 1770 года он издал

от королевского имени указ, так называемый Дисциплинарный эдикт, которым роль парламентов сводилась к роли простых судебных учреждений. Наряду с этим, для смягчения удара в глазах общества, эдиктом провозглашалась бесплатность суда, отмена продажи должностей и увеличение числа судебных округов. Однако общество не поддалось на эту удочку, преобразование парламентов было встречено всеми как удар самоуправлению, и град памфлетов и сатирических стихов посыпался на Мопу, королевских любимцев и даже короля. Что касается парламентов, то они протестовали против Дисциплинарного эдикта, а нормандский собрат их даже обнародовал постановление, в котором объявлял новую магистратуру «самозванною, клятвопреступною, изменническою и незаконнорожденною», а все ее постановления – не заслуживающими внимания (nuls). Какова была эта новая магистратура, – это лучше всего показал процесс Бомарше.

Докладчиком его дела против Лаблаша и Лаблаша против него был назначен парламентский советник, по фамилии Гезман. Гезман служил сперва в Эльзасе, в тамошнем правительственном совете, но потом продал свою должность и в 1765 году переселился в Париж. Он был довольно ученым юристом и написал, между прочим, «Курс общего поместного права», напечатанный в 1768 году. Нравственный уровень его – подозрительного характера: еще более подозрительный – у его супруги. Молодая и красивая особа, она постоянно ныла из-за ограниченности жалованья парламентского советника, которую врачевала, по ее собственным словам, уменьем «ощипывать курицу, не вызывая криков этой курицы»… Оппозиция парламентов преобразованию заставила Мопу изгнать непокорных, но замещение вакансий новым составом встречало немало затруднений. Цвет общества отказывался от предложения занять эти вакансии, правительство должно было поэтому привлечь к себе сомнительные элементы – людей, говоривших, по выражению одного современного им водевилиста, что «лучше умереть от стыда, чем от голода». В числе этих людей оказался и Гезман. Таким образом, громкое дело Лаблаша и Бомарше являлось пробным камнем для новой магистратуры.

Это дело было передано Гезману 1 апреля 1773 года, а пятого числа того же месяца должен был состояться доклад. По общепринятому обычаю, истцы и ответчики посещали своих докладчиков и лично излагали им мотивы своего дела, а потому и Бомарше, под конвоем тюремного сторожа, искал свидания с советником Гезманом. Но все усилия его добиться этого свидания не приводили ни к чему. Советника все не было

дома, несмотря на письменные просьбы Бомарше назначить день и час переговоров. Эта недоступность советника не замедлила породить у писателя вопрос о ее причинах, не особенно, впрочем, головоломный, потому что необходимость «смазывания» вовсе не была чужда административному механизму того времени. Если и было в чем затруднение, так это в определении, как и в какой мере нужно было «смазать», и Бомарше принялся за разрешение этой задачи. Как вдруг жилец его сестры, некто Дероль, припомнил, что книгопродавец Лежэ берет на комиссию книги советника Гезмана, часто видится с его женой и, вероятно, может устроить свидание с недоступным жрецом Фемиды. Дальнейшие справки не замедлили подтвердить это предположение, и через какое-то время Лежэ сообщил, что аудиенция может быть получена за двести экю… Медлить было некогда, оставалось уплатить требуемую сумму, но экономия взяла свое, и Лежэ была передана только сотня экю. Благодаря этой взятке Бомарше увидел, наконец, советника, однако свидание обоих было настолько непродолжительным, что непременно требовало повторения. Новая справка на этот счет у Лежэ дала прежний вывод о необходимости денежной жертвы, во второй раз более значительной: сто экю для г-жи Гезман и 15 – для судебного секретаря. В виде утешения Бомарше было заявлено, что, в случае неудачного исхода процесса, все уплаченные суммы будут возвращены ему обратно. Затрудняясь с деньгами, – его имущество было описано, – Бомарше доставил Лежэ только 15 экю деньгами, а вместо сотни – золотые часы, осыпанные алмазами. Однако несмотря на материальные жертвы и одно свидание с советником – он так и не добился второго, – Бомарше все-таки проиграл свое дело. Пока он сидел в Фор-Левеке и униженно хлопотал о разрешении посетить своего докладчика, его противник не терял золотого времени и тоже сыпал деньги покойного Дювернэ. В результате Бомарше оказался не только должником Лаблаша, но и косвенно заподозренным в подлоге, потому что вторая судебная инстанция не признала действительным его договора с Дювернэ.

Госпожа Гезман сдержала свое слово, Бомарше были возвращены и деньги, и золотые часы, осыпанные алмазами. В этом возмещении убытков не хватало лишь 15 экю. Но Бомарше не верил уже в «секретаря». К тому же и розыск мнимого мздоимца, сотрудника г-жи Гезман, разрушал эту басню самым положительным образом. Секретарь действительно существовал, но оказался человеком самых честных правил. Таким образом, все разъяснялось, не оставалось никакого сомнения, что Бомарше разыграл амплуа той курицы, которую умела ощипывать супруга

эльзасского юриста. Но, если он оказался этой курицей, он не хотел молчать. Он решил требовать обратно свои пятнадцать экю, заранее зная, что их не отдадут, да они и не были нужны этому человеку. «Милостивая государыня, – писал он супруге советника, – я не имею чести быть известным вам лично и не позволил бы себе докучать вам, если бы, после потери мною процесса, мне возвратили не только два свертка луидоров и часы, осыпанные алмазами, но и те пятнадцать экю, которые были доставлены вам сверх договора нашим посредником. Ваш супруг так ужасно обошелся со мною, мое дело было так искажено тем, кто, как вы говорили, должен был отнестись к нему согласно законам, что было бы несправедливо увеличить мои потери еще потерею пятнадцати экю, которым не следовало застрять в ваших руках. *Если неправосудие должно оплачиваться, то отнюдь не потерпевшим.* Я надеюсь поэтому, что вы обратите внимание на мою просьбу и, возвратив мне пятнадцать экю, удвоите эту справедливость верой в глубочайшее мое к вам, милостивая государыня, расположение…» Само собою разумеется, на это письмо не последовало никакого ответа. Но тревогу в сердце госпожи Гезман оно все-таки поселило, потому что через день по доставке ей письма, 22 апреля 1773 года, к Бомарше явился чрезвычайно растерянный Лежэ, так как, говорил он, супруга советника спрашивала его, возвратил ли он взятое за аудиенцию ее мужа. Между тем по городу уже побежала легкая зыбь истории о пятнадцати экю. С каждым днем эти толки становились все громче и громче. Временно затихшая неприязнь к парламенту Мопу находила в них новую пищу для себя… Раздосадованный и испуганный Гезман попытался было отделаться от Бомарше тайным приказом о его аресте, так называемым lettre de cachet[8], но власти справедливо увидели в этом только новый повод для общественного волнения. Оставался расчет на закулисную сторону суда, на негласность делопроизводства, которая обеспечивала возможность раздавить противника, и Гезман пошел на это, начав преследование Бомарше по обвинению в клевете и подкупе. Обвинение было тяжкое, «все, кроме смерти – omnia citra mortem», – вот что грозило клеветнику. А между тем успех улыбался советнику. Парламент Мопу заранее был враждебно настроен против обвиняемого, который являлся как бы олицетворением тысяч других врагов и хулителей этого парламента. Гораздо труднее было защищаться против обвинения. Надо было доказать, что деньги действительно платились советнику или его жене, и в то же время не дать суду повода к заключению, что плативший эти деньги покупал правосудие, а не свидание с докладчиком. Бомарше прекрасно разрешил эту задачу. Он перенес свое дело из

таинственных и небезопасных для весов Фемиды стен парламента на обсуждение всей нации, целой Европы и рядом блестящих мемуаров один за всех разрушил парламент Мопу. Louis Quinze (Людовик XV), говорили потом, создал этот парламент, а quinze louis (пятнадцать экю) уничтожили его…

Всех мемуаров Бомарше против Гезмана насчитывается четыре или пять, по счету Ломени, с дополнением к первому. Это настоящие классические образцы французской прозы, полные огня, остроумия, самого едкого сарказма, и лишь иногда их автор грешит против языка, сочиняя новые термины, – но что это значит в сравнении с быстротою, с которой писались эти шедевры. Не менее блестящи те же мемуары с чисто юридической точки зрения. Их автор не только первоклассный писатель, но одновременно и в не меньшей степени первоклассный адвокат. Он с беспощадною логикой разбивает доводы своих противников, сличает их показания одно с другим и вдруг из обвинения против него делает обвинение против них.

Необходимо остановиться на некоторых чертах этого знаменитого процесса. Атаку против Бомарше Гезман, не выступая лично, через жену, повел на основании расписки Лежэ. В этой расписке говорилось, что Бомарше пытался-де подкупить докладчика, предлагал его жене сто луидоров и золотые часы с алмазами, но потерпел неудачу, его дары были отвергнуты «с негодованием»… Лежэ необразован, малограмотен, вот что отвечал на это Бомарше, а между тем заявление написано грамотно. Очевидно, не Лежэ писал его, ему диктовал более сведущий человек, и этот человек – юрист и советник Гезман, «преблагородный и опытнейший Людовик-Валентин Гезман»… Тот же советник управляет показаниями своей жены, и потому всякий раз, когда это управление чего-нибудь недосмотрит и не предвидит, управляемый путается и противоречит самому себе. Таким образом, супруга Гезмана, начав с положительного утверждения, что не брала денег от книгопродавца и, следовательно, от Бомарше, кончила признанием, что эти деньги пробыли в ее комнате *день и ночь.* Она пыталась также утверждать, что совсем не знает Лежэ, а между тем в портфеле этого последнего оказались ее записки к книгопродавцу. Но главное, о чем хотелось Бомарше – говорить, а чете Гезманов – молчать, были пятнадцать экю, или луидоров. Бомарше употребил всю свою ловкость, все уменье пользоваться промахами своих обвинителей, чтобы свести их к этому вопросу, и в результате для суда не могло уже быть сомнения, что жена советника брала от Бомарше и часы, и сто, и пятнадцать экю.

Сбитые со своих позиций как обвинители, Гезманы отыскивали себе удовлетворение и спасение в клевете на личность противника. В ответных своих мемуарах они подхватывали все сплетни о Бомарше о том, что он будто бы отравил двух своих жен, о его истории с Клавиго, о прежнем звании его как часовщика. Результат этого похода был самым неожиданным. Бомарше, опираясь на документ, свидетельство о крещении дочери некоего Дюбиллона и его жены Марии Жансон, доказал, что советник Гезман, разыгрывающий роль добродетельного человека, законника и законник по своему положению, подписался *фальшивым* именем Дюгравье на официальном документе и указал фальшивый адрес. Он обязался заботиться о дочери Дюбиллона и в то же время замел свои следы, введя в заблуждение родителей ребенка относительно своей личности и жительства.

Кроме советника и его жены, на Бомарше обрушились одновременно три неразборчивых противника, бездарный стихотворец Арну Баккюлар, Дероль и газетчик Марэн. Все трое делали сперва вид, что поддерживают интересы Бомарше, но потом испугались, почувствовали, что сила не на его стороне и поспешили перебежать к тем, за которыми им чудился успех. Сделав это, они патетически говорили о чести, о правде и призывали на недостойного противника правосудие, Бога, но этот противник очень быстро разоблачил их и навсегда заклеймил несмываемым позором. Бертран Дероль, тот самый Дероль, который указал Бомарше на Лежэ и, следовательно, отлично знал всю историю с пятнадцатью экю, притворялся невинным младенцем и помнил лишь вредное для Бомарше и полезное для Гезманов.

«Какая прекрасная тема для конкурса хирургической академии на 1774 год, – писал на это Бомарше. – Золотую медаль тому, кто объяснит, каким образом мозг бедного Бертрана мог внезапно расколоться надвое и вызвать в его голове память, столь счастливую для одних фактов, столь несчастную для других, – как кузен Бертран стал вдруг паралитиком одною стороною ума, и притом необыкновенно курьезным для любителей способом, – часть памяти, обвиняющая Марэна, парализована безвозвратно, тогда как часть оправдывающая здрава, невредима и сияет таким хрустальным блеском, что мельчайшие подробности отражаются в ней, как в зеркале…»

В качестве поэта Арну Баккюлар в своих нападках на Бомарше постоянно впадал в лиризм и даже предпослал одной из своих грязных выходок против писателя благочестивую выписку из псалма: «Суди мя, Господи, и от злого и коварного человека избави мя»…

«Простите, милостивый государь, – писал на это псалмисту „злой и коварный человек“, – если на все оскорбления вашего мемуара я не ответил вам особою статьею. Простите, если видя, как вы ведете меня к разрушению моего коварства, как вы измеряете в моем сердце мрачные бездны ада и пишете: „Ты спишь, Юпитер, к чему же тогда твои перуны?“ – я только слегка ответил на ваши надутые фразы. Простите… без сомнения, вы когда-то учились и, вероятно, знаете, что самым прекрасным образом надутому шару достаточно укола булавкой…»

«Уколы булавкой», – таковы именно приемы борьбы Бомарше с Арну и Деролем, но с Марэном он возился гораздо дольше, хотя с тем же колоссальным успехом. Марэн был одно время в самых дружеских отношениях с Бомарше. Он служил в цензуре и потому рассматривал рукопись «Евгении». Он же состоял начальником комитета по надзору за книжною торговлей и агентом канцлера Мопу по уничтожению брошюр против преобразованных парламентов. В конце концов, заботясь о своих интересах, он угождал на все стороны; конфискуя памфлеты против правительства; он продавал их по повышенной цене и, между прочим, способствовал распространению сочинений Вольтера, запрещенных во Франции. Ему принадлежала также выгодная аренда «Французской газеты», но как писатель он был совершенно ничтожен. Автор «Истории Саладина», он не прочь был, конечно, считать себя компетентным ученым, ориенталистом и в одной из своих вылазок против Бомарше не без блеска цитировал изречение Саади: «Не давай своего риса змее, потому что она укусит тебя». «Марэн, – писал на это противник Гезмана, – вместо того, чтобы угощать рисом змею, берет ее кожу, заворачивается в нее и ползает в таком виде с таким искусством, как будто всю жизнь не делал ничего другого…»

В деле Бомарше и Гезмана Марэн явился во всем блеске своей подлости и продажности. Он действительно облачался здесь в змеиную шкуру и под видом дружеского расположения пытался «сбить» Бомарше в его деле с парламентским советником. Но когда это не удалось, он снял личину и стал осыпать бывшего друга самыми невероятными обвинениями в своей газете. Он старался даже выставить Бомарше врагом существующего во Франции порядка вещей, с злобной целью, но, конечно, не без основания, врагом религии и правительства и с фарисейской скромностью ставил многоточия в самых подозрительных местах. Бомарше искусно снял с Марэна эту личину благонамеренного человека. «Как Буало, – писал он, – что бы я ни назвал, я называю настоящим именем, кошку зову кошкой, а Марэна называю торговцем мемуарами,

литературой, цензурой, новостями, шпионством, ростом, интригами и проч., и проч. – целых четыре страницы *и прочее…»* «Первое несчастие для человека, – говорил он в другом месте, – конечно то, когда краснеешь за себя. Но второе наступает, когда за тебя краснеют другие. Впрочем, я не знаю, зачем говорю вам все эти вещи, которых вы не можете понять. Я удаляюсь… ведь я еще могу что-нибудь потерять. А вы… вы можете смело идти всюду». Особенно блестящие страницы посвящены Марэну в четвертом мемуаре против Гезмана. Если бы Всеблагое существо, говорит здесь Бомарше, явилось к нему, Оно сказало бы ему, что, наделив его всеми благами, крепким телом и крепкой душой, Оно дало ему также в удел несчастья, дабы он не возгордился своим благополучием. Бомарше преклоняется перед высшею волей, но если ему суждено иметь врагов, он просит, чтобы это были такие-то именно люди, и затем описывает Лаблаша, Гезмана и других.

«Если я должен, – просит он, – явиться перед парламентом как человек, хотевший подкупить неподкупного судью и очернить неочернимого человека, – всемогущее Провидение, твой раб простерт перед тобою, я покоряюсь тебе, сделай только, чтобы мой обвинитель был человек ограниченного ума, чтобы он был фальшив и подделыватель документов»… Пусть в это дело вмешаются другие люди и, между прочим, злой посредник, «пусть этот посредник будет изменником друзьям, неблагодарным к своим благодетелям, ненавистным для авторов по своей цензуре, скучным для читателей по своим писаниям, страшным для должников, разорителем бедных книгопродавцев из-за своего обогащения, продавцом запрещенных книг, соглядатаем за людьми, допускающими его в свое общество, – чтоб в глазах людей достаточно было быть им очерненным, и это убеждало бы в честности человека, – стоило быть под его защитой, чтоб все тебя подозревали. *Боже, дай мне Марэна!»*

Успех мемуаров Бомарше был громадным. Их читали нарасхват не только в городе, обыкновенные смертные, но даже при дворе. Писатель добился своей цели, он выставил в смешном и позорном виде всех своих врагов, начиная с жены советника Гезмана и кончая Марэном. «Красноречивый писака, – говорил он еще об этом Марэне, – ловкий цензор, неподкупный журналист, поставщик памфлетов, если он ходит – он ползает, как змея; подымаясь на ноги, он падает, как жаба». «Его карета украшена гербом: фигура славы с подрезанными крыльями и поникшей головой громко трубит в трубу. Герб поддерживается Европой с недовольною миной, а все изображение окружено бордюром из газет и увенчано четырехугольным колпаком с надписью: „Что такое Марэн (Ques-

a-co Marin)?“.» Эта картина так понравилась Марии-Антуанетте, в то время наследной принцессе, что она придумала особую прическу, и назвала ее «ques-a-co?»[9]. Совсем иначе относились к мемуарам Бомарше члены парламента. Они были настроены против сатирика и, конечно, заранее осуждали его. Дошло до того, что президент суда Николаи, встретив автора мемуаров в зале парламента, не сдержал душившей его злобы и приказал вывести Бомарше вон. Это приказание не было, однако, исполнено из опасения вмешательства в пользу Бомарше свидетелей полученного им оскорбления. По той же причине первый президент парламента просил обиженного взять обратно поданную им жалобу на Николаи.

Наконец, 26 февраля 1774 года настала развязка громкого дела. Парламент вынес резолюцию, в силу которой и жена советника Гезмана, и Бомарше, стоя на коленях, должны были выслушать позорное порицание: «La cour te blâme et te déclare infâme (Суд презирает тебя и объявляет бесчестным)»… Но, – таково было впечатление мемуаров, – суд так и не решился исполнить свое постановление. Слишком велики были для этого всеобщее презрение к этому суду и популярность Бомарше. «Недостаточно быть *презираемым,* – говорил писателю Сартин, – надо быть еще скромным…» Бомарше, действительно, было отчего потерять эту скромность; обвиненный парламентом, он был идолом толпы, и на другой же день после судебной развязки принц Конти и герцог Шартрский почтили его блестящим праздником.

Глава VI. Слава и падение

Бомарше после дела с Гезманом. – Тевено де Моранд и его памфлет, – Бомарше – агент Людовика XV. – Развязка дела с Морандом. – Смерть Людовика XV. – Памфлет на Марию-Антуанетту. – Господин Ронак и Аткинсон. – Уничтожение памфлета в Лондоне и Амстердаме. – Бегство Аткинсона. – Бомарше в погоне за ним. – Нейштадтское приключение. – Бомарше в Вене. – Первый успех и арест. – Розыски Кауница. – Кто был Анжелуччи? – Бомарше опять во Франции. – Новая миссия его. – Шевалье Д'Эон. – Реабилитация Бомарше. – «Севилъскип цирюльник». – Бомарше – помощник Американской республики. – Издание Вольтера. – «Женитьба Фигаро». – Русский перевод ее. – Начало падения Бомарше. – Бомарше в тюрьме Сен-Лазар. – Столкновение с Мирабо, – Бомарше, Корнман и Бергас. – «Преступная мать». – «Тарар». – Разлад между обществом и Бомарше. – Последние годы и смерть.

После процесса с Гезманом никто не решался уже называть Бомарше «бессильною обезьяною Дидро». Он обладал в это время самою широкою популярностью, а медленное разложение парламента Мопу было лучшею наградою писателя за понесенные обиды. Тем не менее положение его было ужасным. Заклейменный приговором «La cour te blâme et te déclare infâme», он не мог занять никакой должности, а проигрыш процесса с Лаблашем отнял у него почти все материальные средства. После долгой борьбы за существование Бомарше опять очутился в положении вздыхателя по благам мира, каким он был в роли никому не известного контролера на кухне Его Величества до уроков музыки у mesdames de France. Казалось, медленное прозябание грозило этому человеку, выброшенному из социального механизма как ненужный и отслуживший свое время винт; на деле же случилось иное. Как раз в эту пору проживавший в Лондоне бургундец, весьма опытный пасквилянт Тевено де Моранд в обычной своей манере довел до сведения французского правительства, что собирается выпустить в свет сенсационную книгу «Секретные мемуары публичной женщины». Публичная женщина была не кто иная, как любовница Людовика XV, госпожа Дю Барри. Весьма понятно поэтому волнение, охватившее короля при вести о книге Моранда. В Лондон был немедленно сделан запрос из Парижа о выдаче памфлетиста, но английское правительство предоставляло позаботиться об этом

французскому, не желая вызывать нареканий в стране. Однако сделанная после этого попытка французских властей арестовать Моранда потерпела скандальную неудачу. Моранд объявил себя политическим эмигрантом и вызвал такую симпатию к себе в лондонском населении, что хотевшим арестовать его парижским агентам грозила перспектива захлебнуться в волнах Темзы, и они ни с чем возвратились восвояси.

Между тем Моранд еще с большею энергией принялся за издание памфлета. Три тысячи экземпляров его книги уже готовы были распространиться по Европе, как вдруг Людовику пришла счастливая мысль воспользоваться искусством того, кто так ловко раскрыл все подвиги Гезмана и его жены.

Без сомнения, лондонская миссия для охранения тайны позора госпожи Дю Барри не представляла собою ничего почетного для Бомарше и кидала на него самого некрасивый отсвет этой грязной истории грязной героини. Но Бомарше поманили опьянявшей его перспективой восстановить свое имя и положение, и он, не колеблясь ни минуты, принял предложение короля… В марте 1774 года он был уже в Лондоне, у Моранда, тайным агентом французского правительства под фамилией Ронак, анаграммой слова Карон. Переговоры его с памфлетистом с первых же дней пошли чрезвычайно удачно, и немного времени спустя он смог вернуться в Париж с печатным экземпляром «Мемуаров публичной женщины» и с рукописным другого памфлета все того же Тевено де Моранда. Людовик был в восхищении от исполнительности Бомарше. Он скоро согласился на условия Моранда, а Бомарше опять был послан для передачи денег памфлетисту и для уничтожения пресловутых мемуаров. Автору этих последних было отпущено единовременно 20 тысяч франков и гарантирована пожизненная пенсия в 4 тысячи тою же монетой. Подобно мемуарам Бомарше против Гезмана, памфлет Моранда подлежал сожжению и был действительно сожжен в окрестностях Лондона в гипсообжигательной печи в присутствии господина Ронака. Однако пламя трех тысяч экземпляров памфлета и его рукописи не оказалось для Бомарше зарею благополучия. Виновник этого аутодафе, Людовик XV, умер как раз в ту пору, когда таинственный путешественник возвратился в Париж для получения заслуженной награды. Что касается его наследника, то Людовику XVI не было никакого дела до репутации госпожи Дю Барри, а потому и до подвигов Бомарше. Но судьба ли благоприятствовала писателю, или он сам настраивал таким образом свою судьбу, – не успел новый король французов привыкнуть к своему новому положению, как из того же Лондона опять было получено известие о памфлете, на этот раз по

адресу королевы Марии-Антуанетты. Памфлет назывался «Советом испанской ветви Бурбонов» и был будто бы написан итальянским евреем Вильгельмом Анжелуччи. Этот Анжелуччи, как гласили дальнейшие сведения о нем, принял в Англии имя Вильяма Аткинсона, весьма ловко хранил свое инкогнито и собирался напечатать в скором времени свою скандальную брошюру одновременно в двух изданиях: одно – в Лондоне, другое – в Амстердаме. На этот раз пришлось волноваться уже Людовику XVI, зато и Бомарше не ждал уже приглашения оказать услуги, а сам предложил королю, через морского министра Сартина, свое уменье и опыт. Его предложение было принято без проволочек. Однако наученный опытом первого путешествия в Лондон, Бомарше поступал на этот раз более осторожно, с заметным желанием оформить свою миссию, придать ей, при всей ее таинственности, официальный характер и таким образом обеспечить себе возмещение своих хлопот и усердия. Он стал просить поэтому Людовика выдать ему удостоверение как исполнителю королевской воли, – «имя короля, – писал он Сартину, – стоит тысячной армии, и кто знает, сколько сбережет оно гиней?..» Но король не согласился выдать удостоверение, и Бомарше уехал в Лондон при тех же условиях, как и в первое путешествие на берега Темзы. Его не покидала, однако, надежда все-таки добиться выдачи желанной «грамоты», и вот, приехав в Лондон, он начинает осаждать Сартина рядом писем, в которых со все возрастающею настойчивостью доказывает невозможность действовать успешно без доказательства своего значения как агента французского правительства и короля. Его доводы показались из Лондона более убедительными, чем в Париже, с другой стороны, и Анжелуччи мог распространить свой памфлет, пока длились переговоры о «грамоте», а потому король сдался наконец на просьбы своего агента и выдал ему просимое удостоверение. «Господин Бомарше, – говорилось в этом удостоверении, составленном самим Бомарше, – снабженный моими секретными поручениями, отправится как можно скорее к месту своего назначения. Тайна и быстрота, с которыми он исполнит эти поручения, будут для меня приятным доказательством его готовности служить мне. Людовик. Марли, 10 июля 1774 года». Какова была радость Бомарше при получении королевской «грамоты», этого первого залога дальнейших успехов, об этом можно судить по его лирическому посланию к самому Людовику. «Любовник, – писал он королю, – носит на шее портрет своей возлюбленной, скряга – ключи, верующий – частицу мощей, а я, я заказал золотой овальный медальон, большой и плоский, в форме чечевицы, в который вложил приказ Вашего Величества, и затем надел его на шею на

золотой цепочке как вещь самую необходимую для моей работы и самую драгоценную для меня…» Украсившись золотым медальоном на золотой цепочке, Бомарше приступает, наконец, к розыскам Аткинсона-Анжелуччи. Теперь он очень быстро находит таинственного итальянского еврея, уговаривает его отказаться от распространения памфлета и за 36500 франков получает от него рукописный оригинал и 4 тысячи экземпляров лондонского издания памфлета. Таинственные незнакомцы привозят все это в карете в окрестности Лондона, новое аутодафе совершается под серым небом Англии в интересах французской короны, и затем господин Ронак, в сопровождении Анжелуччи, перебирается на материк, в Амстердам, для уничтожения второго издания памфлета. Как и в Лондоне, здесь повторилась та же история: брошюра была сожжена, и все, казалось, было улажено. Бомарше даже разрешил себе некоторый отдых и принялся фланировать по Амстердаму в качестве беззаботного туриста. Как вдруг среди этих мирных занятий он узнает ужасную весть: Анжелуччи бежал из Амстердама вместе с деньгами и несколькими экземплярами памфлета, чтобы перепечатать их и опять пустить в обращение… Бомарше наводит справки. Еврей, оказывается, бежал в Германию и держит путь на Нюрнберг. Господин Ронак, конечно, пускается за ним, по его собственным словам, «как лев», почти без денег, но с твердою решимостью заложить все драгоценности, которые имелись у него, в дороге, и преследовать, и непременно найти Анжелуччи. «Горе, – восклицает он, – негодяю, заставляющему меня сделать лишние триста или четыреста лье, между тем как я рассчитывал отдохнуть!..» Некоторые биографы думают, что этот «негодяй» был не кто иной, как сам Бомарше, он же автор памфлета, устрашившего Людовика XVI. На это предположение невольно наводят дальнейшие приключения Ронака… В погоне за Анжелуччи, в почтовой коляске он отправляется из Амстердама в Германию, едет через Нимвеген, Клеве, Дюссельдорф, Кёльн и Франкфурт-на-Майне. По дороге в Нейштадт, проезжая реденьким лесом, он вдруг замечает между деревьями Анжелуччи на небольшой гнедой лошади. Захватив пистолет, он спрыгивает с повозки и бежит за вероломным евреем. Деревья мешают тому ускорить бег своего коня, а Бомарше помогают догнать беглеца. Еврей остановлен. Ронак сбрасывает его с коня, роется в его карманах, в чемодане и, к величайшему удовольствию, находит похищенные экземпляры памфлета и даже деньги, уплаченные за них. Деньги он оставил Анжелуччи и, взяв с собой брошюры, стал торопиться к повозке. Но тут на него нападают два разбойника, причем один из них с длинным ножом в руках требует кошелька или жизни. Бомарше стреляет из

пистолета, но пистолет дает осечку. Разбойник в свою очередь ударяет путешественника ножом, но тоже не удачно, нож уперся в золотой медальон с королевской «грамотой», не причинив вреда. Собрав все свои силы, Бомарше бросается тогда на злодея, валит его на землю, между тем как другой разбойник в испуге обращается в бегство. Победитель начинает вязать свою жертву, но вдали опять показывается бежавший было негодяй и не один, а с другими, враги перекликаются между собою, один называет другого *Анжелуччи*, *а* тот его *Аткинсоном.* К счастью для Бомарше, в это время загремела труба почтальона. Разбойники испугались, и путешественник благополучно добрался до своей повозки. Дальнейший путь он совершает с перевязанной рукою и шеей, а в Нюрнберге просит составить протокол и живо повествует при этом о своем приключении хозяину гостиницы «Красный петух», в которой остановился. Несмотря на свою откровенность, он все-таки никому не показывает своих ран, не обращается к доктору. Он торопится дальше и посылает в Нюрнберг уже с дороги дополнения к своим показаниям с необыкновенно точным описанием примет разбойников и их одежды. Приехав в Регенсбург, он совершает остальной путь водою и 19 августа добирается до Вены. На следующий день он разыскал барона Нени, секретаря императрицы Марии-Терезии, и стал просить его выхлопотать ему аудиенцию у Ее Величества. Барон, естественно, был удивлен этим жела нием неведомого человека, но деловой и решительный тон Бомарше победил недоверие чиновника. Нени направил незнакомца к графу Зейлерну, а тот отвез путешественника в Шенбрунн, где проживала Мария-Терезия. Три с половиною часа провел Бомарше в кабинете императрицы. Он открыл ей свое настоящее имя, рассказал о причинах своего путешествия, о нападении на него в Нейштадтском лесу и, наконец, прочел ей памфлет на Марию-Антуанетту, чрезвычайно поразив предложением напечатать его в Вене с выпуском слишком резких мест. Императрица и верила и не верила чудным повествованиям странного человека и, прощаясь с ним по окончании аудиенции, советовала ему «пустить себе кровь». Она просила также Бомарше оставить ей на один день ругательный памфлет и обещала немедля возвратить ему эту брошюру. Бомарше вернулся в Вену в свой номер в гостинице «Zu den drei Läufern»[10], а вечером того же дня, в 9 часов, к нему явились два офицера с саблями наголо, восемь гренадеров с ружьями при штыках и секретарь регентства с приказанием от графа Зейлерна арестовать путешественника в его номере. Все бумаги, дорожная шкатулка и медальон с королевскою «грамотою», – все это было отобрано у разгневанного Бомарше. Тайный агент французского правительства, он

вдруг оказался пленником и провел в плену, по его собственным словам, «тридцать и один день, или *сорок четыре тысячи шестьсот сорок минут»*… Все это время австрийское правительство, по почину хитрого Кауница, производило расследование темного для венцев дела о таинственном уполномоченном Людовика XVI. Сделаны были, между прочим, запросы в Нейштадт по поводу дорожного приключения Бомарше, а когда были получены оттуда ответы на эти справки, подозрение к пленнику в гостинице «Zu den drei Läufern» увеличилось еще в большей степени. В самом деле, показания кучера, возившего Бомарше, совершенно расходились с рассказами последнего о нападении разбойников. Из Нейштадта писали, что дороги у них давно уже очищены от каких бы то ни было мошенников, что кучер господина Ронака не слыхал, чтобы в лесу, где находился «англичанин», как он полагал, ради естественной потребности, стреляли или кричали, и что, наконец, тот же кучер видел, как Бомарше, выходя из повозки, захватил с собою бритву… Бомарше рассказывал императрице, что он заставил Анжелуччи дать расписку, что тот не будет более печатать памфлета, причем расписка была будто бы написана в Нейштадтском лесу, на колене, а потому неразборчиво. Этот документ оказался в арестованных бумагах путешественника и, по мнению Кауница, своим почерком удивительно напоминал почерк самого Бомарше. Однако справки, наведенные в Париже, не замедлили опровергнуть предположение того же Кауница, что вся миссия писателя была простою выдумкой, а королевская «грамота» – дерзкою подделкой. Дальнейшее пленение француза представлялось поэтому неудобным, и Бомарше освободили. Чтобы замять историю, императрица прислала ему тысячу дукатов, но он отказался принять их как дар, и деньги были заменены потом драгоценным перстнем… Таинственная история с брошюрой «Совет испанской ветви Бурбонов» (Avis à la branche espagnole etc.) до сих пор остается темною историей. Копия с этого документа хранится и поныне в Венском государственном архиве, но кто был автором оригинала: Бомарше, Анжелуччи-Аткинсон, или кто другой, – вопрос остается нерешенным. Арнет, автор исследования «Бомарше и Зонненфельс», не сомневается, что ругательный памфлет был написан ловким противником советника Гезмана. Против этого мнения восстает Беттельгейм. Он находит, что язык памфлета слишком тяжел для автора «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро». Наш соотечественник, профессор Веселовский склоняется в пользу предположения Арнета, и, по-видимому, это – наиболее верное заключение. Резкие места брошюры, приписываемой самим Бомарше Аткинсону-Анжелуччи, весьма близко напоминают тон

одного из первых произведений знаменитого писателя, поэмы «Оптимизм», а приключения его в роли аббата Арпажона служат как бы прелюдией к приключениям Ронака.

Несмотря на странные обстоятельства, которыми сопровождались хлопоты Бомарше по делу со вторым памфлетом, французское правительство не потеряло доверия к нему и вскоре поручило новую миссию. Нужно было вырвать у шевалье Д'Эона секретную переписку его с Людовиком XV, и эту задачу возложили на Бомарше… Нет ничего пестрее и невероятнее биографии шевалье Д'Эона!.. Доктор права, он был адвокатом в парижском парламенте, цензором изящной словесности, дипломатическим агентом, кавалером ордена св. Людовика, драгунским капитаном, секретарем посольства, полномочным министром Франции при лондонском дворе и, в заключение этого калейдоскопа, на сорок третьем году своей жизни был признан женщиной, в этом звании прекратил свое существование и, после осмотра его тела, вновь был признан врачами настоящим, хорошо сложенным мужчиной… Слишком долго было бы останавливаться на причинах маскарада шевалье, во всяком случае вынужденного, но различно толкуемого. Гайльярде полагает, что перемена пола или, вернее, костюма была своего рода политической уловкой для спасения чести английской королевы Софии, супруги короля Георга III… Как бы там ни было, шевалье Д'Эон на закате дней переменил мундир драгуна на женскую юбку и при содействии Бомарше был водворен во Франции. На этом кончились несколько фантастические миссии будущего автора «Севильского цирюльника». Пора было подумать о вознаграждении усердного слуги престола.

12 ноября 1774 года, в силу королевского эдикта, прекратил свое жалкое существование парламент из ставленников Мопу, а через два года, 6 сентября, торжественным решением нового парламента из прежних, когда-то изгнанных членов, с Бомарше была снята унизительная резолюция – «Суд презирает тебя и объявляет бесчестным». Это решение было встречено французским обществом самым восторженным образом, а присутствовавшая в суде публика в порыве энтузиазма на руках вынесла противника Гезмана из зала совещания к его карете. На другой день Бомарше напечатал речь, которую собирался произнести в парламенте, эту своего рода точку над i в его борьбе с рутиною магистратуры. Обозрев прошлое своего дела с советником Гезманом, он напоминает в этой речи скрытый смысл своих мемуаров – необходимость гласного судопроизводства по английскому образцу, т. е. с участием присяжных заседателей.

«Не скрывайте, – говорит он, – под спудом светильник правосудия, и тогда не нужно будет освещать путь этого правосудия другими способами. Дайте необходимую гласность вашим ужасным процедурам, и тогда не нужно будет обнародовать их в мемуарах. Что писал я, наконец, в этих мемуарах, столь осыпанных упреками? Если я позволял себе выставлять своих врагов, одних – смешными, других – бесчестными и всех вместе – не заслуживающими доверия, разве они в свою очередь не нападали на меня со своими воплями на самые деликатные стороны моей жизни? Книга моей частной жизни была открыта перед всей нацией: не всеми ли средствами пытались они очернить один эпизод из этой книги (Клавиго)? Необходимо было защищаться!.. Но что же могло оскорбить в моих мемуарах этих ужасных судей? Не исполнял ли я повсюду веление прекрасной формулы английского правосудия, говоря на каждой странице – *истину, всю истину, ничего, кроме истины?* Разве не отличал я постоянно доброго судью от дурного и не воздавал похвалы этому первому? Да, господа, я с радостью повторяю, хорошие судьи – самые уважаемые члены общества, не потому, что они справедливы, – все люди должны быть таковы, не потому, что они сведущи, в наш век свет проливается в наши глаза со всех сторон; не потому, что они могущественны, – их могущество один только закон. Их звание самое почтенное из всех, потому что оно *очевидно* трудолюбиво, очень трудно, полезно для всех, дело чрезвычайной важности и не ведет никого из них к богатству…»

После неутомимой и часто невероятной борьбы с советником Гезманом и его приспешниками период времени с 1774 года по 1784 год – самая блестящая пора в жизни Бомарше. Это – пора полного расцвета его энергии и таланта. Он совершенно верно оценил себя, когда написал из Испании отцу: «Моей голове не чуждо ничто из самого широкого и возвышенного: она одна понимает и охватывает то, что заставило бы отступить дюжину обыкновенных и неподвижных умов». Но этого мало. Бомарше была свойственна еще и другая особенность. Он мог вести одновременно несколько крупных дел, из которых каждого хватило бы на целый гросс обыкновенных и неподвижных умов. В течение десяти лет, с 1774-го по 1784-й, он ставит и переделывает «Севильского цирюльника», затевает сложное предприятие со снабжением припасами восставшей Америки, будущих Соединенных Штатов, выигрывает процесс с Лаблашем, причем опять пишет мемуары, издает сочинения Вольтера, пишет и ставит «Женитьбу Фигаро», и все это среди волнений, всевозможных хлопот и затруднений.

Первая редакция «Севильского цирюльника» относится к 1772 году.

Будучи результатом увлечения Бомарше испанскими интермедиями и сегидильями, в первоначальном своем виде эта пьеса представляла комическую оперу. Автор предполагал поставить ее у итальянцев, но они не приняли комической оперы Бомарше, справедливо признав его музыку музыкой не очень высокого достоинства. Вероятно, и сам композитор не замедлил прийти к тому же выводу, так как в 1774 году его «Севильский цирюльник» был уже не оперой, а комедией. Постановка этого произведения предполагалась на сцене «Французской комедии», оригинал был процензурован известным Марэном, в эту эпоху приятелем Бомарше, было уже назначено первое представление пьесы, как вдруг ссора с герцогом Де Шоном бросила автора в тюрьму Фор-Левек и таким образом надолго отложила постановку «Цирюльника». Однако громадная популярность, которою пользовался Бомарше ко времени развязки его процесса с Гезманом, побудила актеров опять хлопотать о комедии. Разрешение на спектакль было дано, и в субботу, 12 февраля 1774 года, за две недели до знаменитой резолюции «Суд презирает тебя», должно было состояться первое представление «Севильского цирюльника». Актеры не обманулись, «все ложи, – говорит Грим, – были взяты на пять представлений вперед». Тем не менее и на этот раз парижской публике не суждено было познакомиться с комическим талантом сентиментального автора «Евгении» и «Двух друзей». За день до спектакля, в четверг, 10 февраля, полиция приказала снять афиши, анонсировавшие «Севильского цирюльника». Как раз в этот день вышел четвертый мемуар против Гезмана. Думая, что запрещение пьесы вызвано предположением об имеющихся в ней намеках на волновавший общество процесс, Бомарше снабдил свой мемуар примечанием, в котором заранее обрекал себя на самое строгое наказание, если в пьесе найдется хоть что-либо напоминающее о советнике Гезмане. Действительно, если не считать имени самого писателя, ничего подобного не было в эту пору в «Севильском цирюльнике», но французское общество именно этого ожидало от автора и потому нарасхват разбирало места. «Севильский цирюльник» отражает в себе борьбу из-за пятнадцати экю только в третьей редакции пьесы, например, в знаменитой тираде о клевете, и в этом виде он был допущен на сцену 23 февраля 1775 года. Прежде четырехактная, пьеса растягивалась в эту пору на пять актов. Как при первом анонсе о ее постановке, она привлекла в театр многочисленных зрителей, но успеха не имела. Ее нашли слишком длинной и похожей на фарс, и она пала, но лишь для того, чтобы подняться в полном блеске… Бомарше отказался от целого акта, сгладил неровности, и «Севильский цирюльник», по словам автора,

«погребенный в пятницу, с триумфом восстал в воскресенье». Несмотря на сделанные им поправки в комедии, причину ее первой неудачи Бомарше объяснял враждебностью к нему некоторых зрителей. «О ты, бог шикальщиков и свистунов, – писал он в этом смысле в предисловии к „Цирюльнику“, – мастеров по части кашля, сморканья и всяких перерывов, тебе нужно крови? Выпей мой четвертый акт, и пусть гнев твой уляжется!.. – и тотчас же адский шум, смущавший актеров, стал слабеть, удаляться и совсем замолк…» Все же, бог шикальщиков справедливо был недоволен длиннотами «Цирюльника», иначе «адский шум» не удалился бы вместе с четвертым актом… Переход от чувствительных драм к веселой комедии, полной иронии и сарказма, не мог, конечно, совершиться моментально, без промежуточной формы, даже у такого разнообразного по настроению писателя, как Бомарше… Такой промежуточной формой был фарс «Жан-дурак на ярмарке», первый абрис комедий Бомарше с их постоянными намеками на злобы дня. В том же переломе в деятельности писателя заключается причина длиннот в третьей редакции «Цирюльника». Его автор перенес сюда приемы составителей фарсов, обилие эпитетов в характеристике героев, на манер Рабле, стремление рассмешить зрителя утрированным изображением и нередко скабрезностью намеков. Но только одна ночь потребовалась, чтобы все это переделать; несколько взмахов пера, и все сгладилось – настоящий tour de force[11] великого художника!.. Бомарше пришлось отказаться при этом не от одного только четвертого акта. Он хотел ввести в свою комедию несколько куплетов, но не лишенные некоторой чопорности артисты «Дома Мольера» ни за что не соглашались на это нововведение. Их рука не подымалась на куплеты только в фарсах творца Альцеста и Тартюфа, но для Бомарше их катехизис был свят и нерушим. Однако он победил их предубеждение. По обычаю того времени, спектакли прекращались перед Страстной неделей вплоть до Фоминой включительно, и потому последнее представление на шестой неделе поста всегда заканчивалось более или менее остроумным обозрением театрального сезона, так называемым compliment de clôture. В 1775 году это прощание с публикой взялся написать для актеров «Французской комедии» неутомимый автор «Цирюльника», с целью заставить их пропеть урезанные куплеты. Закрытие театра приходилось в этом году на 29 марта. Шло тринадцатое представление «Цирюльника». После четвертого акта на сцене должен был появиться актер в обычном костюме джентльмена для прощального приветствования зрителей, но, по остроумному замыслу Бомарше, изумленная публика увидела на подмостках всех персонажей «Цирюльника», ломающих головы над

составлением «комплимента». Среди веселой их болтовни были пропеты, наконец, и дорогие писателю куплеты Розины…

Во время постановки «Евгении», «Двух друзей» и первых тридцати представлений «Севильского цирюльника» Бомарше был в самых дружеских отношениях с актерами «Французской комедии». Разлад между ними начинается из-за тридцать первого представления «Цирюльника». В «Доме Мольера» существовал в эту пору обычай конфисковывать в свою пользу всякую пьесу, если она начинала приносить доход не выше определенной меры. Само собою разумеется, актеры всегда имели возможность довести какое угодно произведение до конфискации, объявить его, как они говорили, tombé dans les règles, т. е. подходящим к параграфу, а потом опять получать с него полные сборы в свое полное распоряжение. Такая именно судьба грозила «Севильскому цирюльнику» в декабре 1775 года. Но Бомарше никогда не принадлежал к числу людей, добровольно поддающихся стрижке, и как только актеры стали справляться у него, когда будет принадлежать им «Севильский цирюльник», он иронически ответил им: «А зачем ему принадлежать вам, господа?»… «Скажите, – говорили ему те же актеры, – вы хотите, чтобы мы играли его в вашу пользу еще шесть, семь, даже восемь раз?»… А Бомарше хотел «тысячу и один раз». Из этих препирательств мало-помалу возникла продолжительная борьба писателя за права своих собратьев. С обычною энергией он поднял на ноги других драматургов, привлек к делу внимание правительства и, таким образом, положил начало ныне существующей во Франции ассоциации писателей для сцены, зорко оберегающей права своих членов.

Представление «Севильского цирюльника», несмотря на тенденциозность его третьей редакции, было разрешено в награду писателю за его подвиги под фамилией Ронак. В тот же 1775 год и по тем же мотивам было кассировано оскорбительное и убыточное для Бомарше решение по делу с Лаблашем. Пересмотр процесса должен был происходить в прованском парламенте, но по причинам, о которых будет сказано дальше, этот пересмотр состоялся только в июле 1778 года. Заседания прованского парламента происходили тогда в Эксе. И Лаблаш, и Бомарше – оба нарочно приезжали для этого на родину Гассенди, философа-учителя Мольера. Как и в деле Гезмана, оба противника обменивались язвительными мемуарами, но время было другое, в парламенте заседали совсем другие советники, и Бомарше дали наконец удовлетворение, признав законной его сделку с Пари-Дювернэ.

Причиной, заставившей Бомарше просить об отсрочке дела с

Лаблашем, были хлопоты писателя под вывеской торгового дома «Родриг Горталес и компания». Мнимый испанец, Родриг Горталес был не кто иной, как неутомимый автор «Севильского цирюльника», на этот раз в роли политического агента по оказанию тайной помощи Соединенным Штатам. В этом деле Бомарше принадлежит не только его исполнение, но также инициатива. После несчастной Семилетней войны, по договору 1763 года, Франция потеряла почти всякое значение как морская держава. У нее были отняты Канада, острова Кап-Бретон, Сен-Венсенн, Тобаго и другие, флот ее был уничтожен наполовину, и в довершение всего в Дюнкерхене постоянно проживал английский комиссар, без разрешения которого не могла производиться никакая работа в этом городе, если она хоть немного напоминала военный характер. Когда настала распря между метрополией и американскими колониями Англии, Бомарше первый увидел в этом прекрасный случай уничтожить договор 1763 года и подорвать могущество Альбиона. И вот он начинает осаждать короля и министра Вержена своими заявлениями с основным положением: необходимо помочь американцам. Король очень долго колебался в этом вопросе, не очень сочувствуя идее американской республики, но приезд Франклина и ясные доводы Бомарше взяли верх над нерешительностью Людовика. Французское правительство, не разрывая с Англией и при содействии Испании, стало тайно помогать американским инсургентам. Сперва предполагалась денежная помощь, при посредстве Бомарше, в размере 3 миллионов франков, но потом решили, опасаясь Англии, создать частное коммерческое общество, которое на свой страх и риск, но с правительственною субсидией, производило бы снабжение американцев необходимыми для них припасами. Дело было поручено Бомарше. Несмотря на сложность и новизну предприятия или, вернее, благодаря и той и другой он чувствовал себя здесь в своей сфере, и скоро его корабли, нагруженные провиантом и оружием из правительственных складов, стали циркулировать между Америкой и французскими берегами. Однако таинственность этих рейсов не могла сохраняться слишком долго, несколько кораблей Родриго Горталеса были арестованы англичанами, разоблачился также и псевдоним истинного владельца компании, и разрыв между Англией и Францией стал совершившимся фактом. При горячем сочувствии всей нации французское правительство открыто приняло сторону инсургентов и стало снабжать их деньгами уже без посредничества Бомарше. Но и он продолжал свою роль поставщика, постоянно рискуя попасть в руки английских крейсеров, а в июле 1779 года шестидесятипушечный корабль «Гордый Родриг», принадлежавший, по выражению Ломени, Его Величеству Карону де

Бомарше, принял участие в морском сражении с англичанами в рядах французского флота. Но как ни велики были услуги Бомарше Соединенным Штатам, его энергичная деятельность не получила должного вознаграждения. Причина этого лежала в коммерческом характере его предприятия. В обмен на оружие и припасы инсургенты обязывались доставлять Бомарше продукцию из своей страны, но этот договор исполнялся ими только отчасти и только вначале. Вследствие этого из роли бескорыстного помощника делу свободы Бомарше мало-помалу перешел на роль докучливого кредитора и коммерсанта. Право было, без сомнения, на его стороне. Он затрачивал на свое предприятие гораздо больше, чем получал субсидий, но инсургенты стояли на своем, упорно признавая его лишь орудием бескорыстной помощи Франции. Развязка этого препирательства совершилась уже после смерти писателя. Соединенные Штаты уплатили наследникам Бомарше затраченные им деньги, но далеко не сполна… Было бы ошибочно думать, однако, что одно чувство патриотизма, желание способствовать уничтожению договора 1763 года, увлекло Бомарше на дело помощи американским инсургентам. Когда английское правительство упрекало французское в покровительстве мнимому Родригу Горталесу, Бомарше напечатал в ответ в декабре 1779 года горячо написанную брошюру, в которой, после обозрения своей деятельности в пользу американцев, насколько позволяла цензура и его взаимоотношения с правящими сферами, открыто засвидетельствовал свое сочувствие делу свободы. «Что касается меня, – писал он в своей брошюре, – меня одушевляла природная любовь к свободе и сознательная привязанность к храброму народу, только что отомстившему… английской тирании, и признаюсь с удовольствием, видя неизлечимую глупость английского министерства, претендовавшего на подчинение Америки путем притеснения, *а после Америки, и Англии* я осмеливался предсказывать торжество усилий американцев на пути к свободе…» К этому периоду жизни Бомарше относится следующий замечательный документ:

По особому распоряжению конгресса, заседающего в Филадельфии.

Господину Бомарше.
15 января 1779 года.
Милостивый государь,

Конгресс Соединенных Штатов Америки, ценя ваши труды на благо последних, свидетельствует вам свою благодарность и уверение в своем уважении. Он очень сожалеет о преградах,

которые выпали на вашу долю в деле поддержки этих Штатов. Несчастные обстоятельства помешали исполнению его желаний, но он не замедлит принять скорейшие меры для исполнения своих обязательств. Великодушные чувства и возвышенные взгляды, которые одни могли внушить образ действий, подобный вашему, являются истинной похвалой вашей деятельности и украшением вашего характера. Сделавшись полезным своему государю вашими редкими талантами, вы завоевали уважение нарождающейся республики и заслужили аплодисменты Нового Света.

Джон Джей, президент.

Потери в деле с Америкой не остановили предприимчивости Бомарше. Он затеял другое, не менее сложное, предприятие: издание запрещенных во Франции сочинений Вольтера. Давнишнее преклонение перед автором «Кандида» соединялось здесь с никогда не замиравшею у Бомарше жаждой широкой деятельности и отчасти наживы. Предприятие было задумано им грандиозно, под пышным названием «Философское, литературное и типографское общество», хотя и в составе одного только Бомарше. Он сам шутил над этим, говоря – «la société qui est moi (общество, которое есть я)». Чтобы придать своему изданию характер новизны, он купил у книгопродавца Панкука за 160 тысяч франков неизданные сочинения Вольтера, наброски, письма и прочее. Но еще больше затрат потребовала от него техническая сторона дела, приобретение лучшего шрифта, посылка в Голландию агента для изучения бумажного дела, наконец, приобретение в Вогезах трех бумажных фабрик. Главное затруднение было, однако, не в этом, нужно было отыскать место для печатания Вольтера, а между тем это место приходилось искать за пределами Франции. Наконец, Бомарше удалось договориться с маркграфом Баденским и получить от него в Келе (Kehl) на французской границе старый замок, где и было сосредоточено печатание Вольтера. Издание выходило в объеме 162 томов и в количестве 15 тысяч экземпляров. Первые тома появились в 1783 году, далеко не оправдав ожиданий издателя. Большой мастер привлекать к себе внимание общества, Бомарше обещал первым четырем тысячам подписчиков на Вольтера денежную премию, назначив на это 200 тысяч франков, но как ни новы были в то время подобные премии, у издателя Вольтера набралось всего 2 тысячи подписчиков. Таким образом, и это сложное дело не принесло Бомарше ничего, кроме убытков, и только сознание пользы действительно прекрасного издания должно было в заключение

удовлетворить прогоревшего почитателя Вольтера.

В 1781 году Бомарше написал «Женитьбу Фигаро». Он был в эту пору в самых лучших отношениях с высшими представителями французского правительства, тем не менее, подобно «Севильскому цирюльнику», «Женитьба Фигаро» очень долго не могла появиться на сцене. Рукописный экземпляр этого произведения был прочитан госпожой Кампан королю и королеве, но дело нисколько не выиграло от этого. Вторая комедия Бомарше показалась Людовику настоящим призывом к революции. «Во время монолога Фигаро, – пишет госпожа Кампан, – в котором он нападает на различные стороны администрации, – но больше всего под влиянием тирады о государственных тюрьмах, король быстро поднялся и сказал: „Это отвратительно! Этого никогда не сыграют: нужно разрушить Бастилию, иначе представление пьесы будет опасною непоследовательностью. Этот человек смеется над всем, что должно уважаться в государстве!“..» Таково было мнение короля, не лишенное значительной доли предвидения. Но у «Женитьбы Фигаро» имелись также и безусловные поклонники, и благодаря стараниям этих поклонников в июне 1783 года комедия тайно от короля готовилась к постановке в зале отеля «Menus-Plaisirs». Уже начался было съезд много численной публики, зрительный зал уже наполнялся любопытными из высшего парижского общества, как вдруг получен был приказ короля, воспрещавший представление пьесы. Современники этого события рассказывают, что запрещение вызвало такое неудовольствие, что слова «притеснение» и «тирания», как грозные признаки революции, были общим приговором королевскому приказу. Сам Бомарше был раздражен и взволнован не меньше зрителей и, словно в пророческом порыве, воскликнул тут же, в зале отеля, перед несхлынувшею еще толпою: «А, господа, *он* не хочет, чтобы ее играли здесь, так, я клянусь, ее сыграют, быть может, даже на хорах Парижской Богоматери!..»

Как и «Тартюф» Мольера, вторая комедия Бомарше перешла на подмостки театра после чтений в частных кружках и представлений в домашних спектаклях. Успеху автора помогали, по какому-то странному недоразумению, высшие представители французского общества. Особенно решающее значение имело представление «Фигаро» в Женневилье у графа Водрейля. Все нашли тогда комедию далеко не такою красною, как говорили о ней, и сам король как бы забыл свое первое впечатление и настоял лишь на небольших изменениях в тексте…

27 апреля 1784 года состоялось, наконец, первое публичное представление «Женитьбы». Успех ее был громадным, долгий запрет

комедии придал первому спектаклю характер демонстрации, места в театре брались с бою, и каждый намек автора на события сейчас же разгадывался зрителями. Это было настоящее событие! В душную и темную Францию вдруг полился свет, повеял свежий воздух при громе веселого смеха, так и подмывавшего на борьбу. На что не отозвался бывший цирюльник! Его погоня за Сюзанной стала общественным делом, интересом всей нации, Альмавива – олицетворением ненавистного всем феодализма лишь с новою кличкой, но с прежним грабительским инстинктом. «Нет, ваше сиятельство, – говорит Фигаро о Сюзанне, – она не достанется вам»… Это открытое намерение слуги потягаться с барином из-за невесты на самом деле вызвало стремление к борьбе на другой, более широкой арене… Как известно, «Женитьба Фигаро» является продолжением «Севильского цирюльника», но общественное значение продолжения было глубже того же значения начала пьесы. В длинной серии слуг, каких только выводили на сцене с глубокой древности до Бомарше, Фигаро – самый благородный и самый яркий выразитель народных желаний и стремлений. Причину этого, кроме общего подъема уровня народного самосознания, нужно искать в близком родстве этого типа с его творцом, в несомненно автобиографическом значении Фигаро. «Накануне революции» – так можно назвать вторую комедию Бомарше. Он сам называл ее «комическим сочинением» (Opuscule comique), намекая на веселый смех произведения, но после веселого смеха на душе зрителя или читателя «Женитьбы Фигаро» оставался горький осадок «святого недовольства» – неудержимая жажда лучшего взамен осмеянного комедией. Самый путь к этому лучшему уже намечается автором. «В качестве испанского писателя, – говорит он устами Фигаро, – я считал себя вправе, без малейших угрызений совести, несколько пройтись насчет Магомета. В ту же минуту какой-то посол… черт его знает откуда, предъявил жалобу, что я в моих стихах оскорбляю Высокую Порту, часть полуострова Индии, весь Египет, королевства Барка, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко, и вот мою комедию выкурили в угоду магометанским государям…» «Печатные глупости, – говорит он дальше, – имеют значение лишь там, где стеснена печать… без свободы порицания самая похвала не заключает в себе ничего почетного и только мелкие людишки боятся мелких статеек…»

Не меньшее впечатление «Женитьба» произвела за пределами Франции. Русским переводчиком ее был Лабзин, близкий друг Новикова. Как и во Франции, в России, в Москве, ожидавшей пера Грибоедова, вторую комедию Бомарше находили не совсем удобной среди темных декораций крепостного права. О ней говорили, что она *вольна…*

«Когда выводятся на театре пороки, – отвечал на это Лабзин, – и случаи, в коих они сказываются, нарушается ли тем нравственность или благоустройство? За правило в театре предположить можно, что ни в трагедии чувствительно тронуть, ни в комедии с пользою увеселить, ни в драматических представлениях правил нравственности представить нельзя, не выставив перед глазами неустройств, происходящих в общежитии. Каким образом выставить гнусность порока, не представив, по крайней мере, одного порочного? Как показать картину грубого невежества без Скотинина, худого воспитания без Митрофанушки, сдернуть маску с лицемерства без Тартюфа, со сластолюбия без сластолюбца?..»

«Женитьба Фигаро» была апогеем славы и популярности Бомарше. Дальше начинается падение и той и другой. Писатель как бы теряет ключ к разгадке общественных течений. Новые люди и новые идеи нарождаются вокруг него, но он уже не видит этого роста. Оппозиция с театральных подмостков переходит в толпу, слова становятся делом, новое поле кипучей деятельности – открывается для Франции, а ее пробудитель и чародей Бомарше ищет покоя, тихой жизни среди довольства. В воздухе носятся первые веяния «свободы, равенства и братства», истомленным беднякам мерещится вдали царство общего благосостояния, а Бомарше выстраивает на глазах этих бедняков, на границе захудалого Антуанского предместья, пышные хоромы со статуями и эмблемами. Дороги писателя и общества расходятся все больше и больше… 9 марта 1785 года Бомарше в последний раз приковывает к себе внимание Франции и всей Европы, и не только внимание, но горячие симпатии. Не довольствуясь критикой его произведений, враги Бомарше перешли в эту пору на личные оскорбления автора «Женитьбы», во главе с Сюаром и при скрытом участии герцога Прованского, впоследствии Людовика XVIII. Раздраженный выходками противников писатель позволил себе довольно едкое замечание по адресу неразборчивых зоилов. «Если я должен был, – ответил он в „Парижском журнале“ на их выходки, – победить львов и тигров, чтобы заставить сыграть комедию, не думаете ли вы довести меня до необходимости, подобно голландской служанке, с ивовым прутом в руках гоняться по утрам за грязными ночными насекомыми?»… Львы и тигры этой тирады были поняты всеми как намек на оппозицию короля представлению «Женитьбы Фигаро», а оскорбительное название грязного насекомого невольно падало на сотрудника Сюара, герцога Прованского. Это ли хотел сказать Бомарше, или нет, во всяком случае, враги писателя не замедлили объяснить Людовику резкий смысл его статьи в самом невыгодном свете. Король настолько не сдержал своего негодования, что, не выходя из-за

карточного стола, написал на семерке пик приказание арестовать дерзкого автора. Бомарше был заключен в тюрьму Сен-Лазар. «Уверяют, – писали об этом из Парижа в „Московские ведомости“, – что Бомарше посажен не в особую комнату, но в залу исправления, т. е. что он будет за столом с прочими молодыми вольницами и будет принужден так же, как они, читать благочестивые сочинения, слушать мессу, исповедоваться, а может быть, сносить терпеливо и наказания наравне с прочими». Это известие вполне оправдывалось репутацией сен-лазарской тюрьмы как места заключения проституток и сбившихся с пути молодых людей, подлежавших в случае надобности телесному наказанию по усмотрению тюремного начальства. Однако торжество врагов писателя, даже в куплетах воспевавших его унижение, было непродолжительным. Король не замедлил почувствовать резкость своей меры, и на пятый день заключения Бомарше был выпущен на свободу. Чтобы еще более сгладить неприятное впечатление от ареста, Людовик приказал удовлетворить давнишнюю просьбу бывшего помощника Соединенных Штатов о возмещении его убытков по американской операции. Уменьшение популярности писателя грозило не сверху, а снизу.

Первый удар по этой популярности пытался нанести знаменитый Мирабо. Вместе с механиками, братьями Перье, Бомарше основал в начале восьмидесятых годов акционерную компанию для снабжения Парижа водою. Дело оказалось чрезвычайно прибыльным и потому не замедлило возбудить зависть в кружках парижских финансистов. Мирабо, который искал в эту пору случая так или иначе выдвинуться и состоял в дружеских отношениях с банкирами Паншо и Клавьером, принял на себя роль тарана в руках противников Бомарше. Он обнародовал брошюру с целью показать невыгоды для парижан предприятия Перье-Бомарше и даже больше – гнусность этого дела. Бывший противник Гезмана опять должен был вспомнить свое искусство мемуариста и напечатал брошюру, шутливо называя ее наподобие филиппик Демосфена – мирабеллями. Мирабо как будто ожидал этого. Второй памфлет, еще более резкий, обрушился на Бомарше с самым мрачным портретом популярного писателя… На этот раз дело кончилось, однако, после временного шума даже примирением противников. Но дорога, проторенная натиском Мирабо, показалась слишком соблазнительной для другого искателя славы, и Бомарше опять пришлось бороться с самыми страшными обвинениями… Как человека богатого и влиятельного его постоянно осаждали просьбами то о деньгах, то о содействии. Он редко отказывал в таких случаях и в 1781 году принял участие в деле жены эльзасского банкира Корнмана. Эта особа, с ведома

мужа, состояла в связи с протеже военного министра, а потом, когда ее любовник лишился протекции, тем же мужем была заключена в тюрьму по обвинению в адюльтере, но больше для того, чтобы завладеть ее имуществом. Несчастная женщина была в эту пору беременной. Бомарше горячо принялся за ее дело, добился ее освобождения из тюрьмы и таким образом навлек на себя непримиримую злобу эльзасского банкира. В феврале 1787 года он был атакован самым возмутительным памфлетом за подписью Корнмана, на самом деле написанным безвестным адвокатом Бергасом. По своему обыкновению Бомарше ответил тем же, воздав должное и Корнману, и Бергасу. Но с этого и началась настоящая кампания. Подобно Мирабо, Бергас оставил в стороне семейное дело банкира и со всею силою своего шумливого красноречия обрушился на Бомарше. «Несчастный! – патетически восклицал он по адресу противника. – Ты, как потом, покрыт преступлением (tu sues le crime)», и затем перечислял преступления: Бомарше продал себя министрам, он враг свободы печати и прав народа, словом, человек, само существование которого – святотатство… Чтобы остановить поток этого красноречия, Бомарше обратился к суду. 2 апреля 1789 года парламент признал обвинения Бергаса ложными, оскорбительными и клеветническими и наложил на него штраф в 1000 ливров с угрозою, в случае рецидива, подвергнуть примерному наказанию. В этой развязке дела, казалось, не хватало только мрачной формулы «суд презирает тебя», не хватало для полного торжества Бомарше. Но все было иначе. Общество уже не радовалось победе Бомарше, напротив, обвинение Бергаса было встречено глухим ропотом… Как ни дики были выходки адвоката, они содержали в себе кое-что справедливое, они кинули свет на странное положение Бомарше, одновременно сатирика и друга властей предержащих… Все почувствовали, что обвинитель автора «Женитьбы Фигаро» как бы повторяет против этого автора его же собственные тирады из бессмертной комедии, и прежнее восхищение писателем стало сменяться недоверием, недовольством и злобой. После приговора в деле Гезмана опозоренные мемуарами Бомарше члены парламента Мопу часто подвергались оскорблениям на улице, и Морепа советовал им отправляться на заседания замаскированными. После приговора в деле Бергаса эта участь выпадает на долю Бомарше. Его осаждают в эту пору оскорбительными письмами и раз даже нападают на улице. Не искать покровительства у общества приходилось ему теперь, защищаться от него, и всякий раз, выходя из дому, он брал проводника и оружие. Но Бергасу он все-таки отомстил вдвойне. Он вывел его в драме «Преступная мать» под прозрачным

названием Бежарса и в роли лицемера и негодяя наподобие Тартюфа. В художественном отношении это произведение гораздо слабее комедий. К Бомарше опять возвращается здесь прежняя чувствительность, стремление поучать, веселый фрондер и сатирик Фигаро появляется здесь в роли устроителя домашнего мира и счастия. Тут опять, конечно, портрет самого Бомарше, утомленного продолжительной борьбой, лишь с одним желанием тишины и покоя.

Более возвышенный образ, по мнению Бетельгейма, все того же Фигаро, Бомарше дает в своей опере «Тарар». Тарар – храбрый воин, представитель добродетели и ума, сын народа. Он борется с царем Атаром, как некогда Фигаро с Альмавивой, похитителем его жены, и после целого ряда подвигов торжествует над тираном. Измученный Атаром народ принимает сторону Тарара. Тиран свергается с престола, уступая место Тарару. На сцене появляются Природа и Гений и в торжественной песне резюмируют идею оперы. «Смертный, – поют они, – кто бы ты ни был, принц, брамин или солдат, своим величием на земле ты обязан не *положению,* а *достоинствам»…* Это – давнишняя идея Бомарше и ярко выражена им в «Женитьбе». «Потому только, что вы вельможа, – говорит он там, – вы уже считаете себя гением! Дворянство, сан, богатство внушают человеку столько гордости! Но что вы сделали, чтоб добиться всех этих благ? Вы потрудились только родиться – больше ничего…»

Музыка «Тарара» была сочинена Сальери по идее Бомарше. «Напишите мне музыку, – говорил он композитору, – которая повиновалась бы, а не командовала, которая подчинялась бы ходу моего диалога и интересу моей драмы». Исполнить это желание у Сальери не хватило таланта, он написал совершенно ничтожные мелодии, но идея Бомарше не погибла и нашла свое выражение под пером знаменитого Вагнера. Несмотря на ничтожность ее музыки, опера Бомарше постоянно привлекала к себе многочисленных зрителей, начиная с первого представления 8 июня 1787 года. Но через три года в нее пришлось уже внести существенные изменения. Возведение на престол Тарара, человека из народа, в эту пору было уже недостаточным. Жизнь выдвигала другие вопросы, и к прежнему заключению пьесы – «царствуй над любящим тебя народом согласно законам и справедливости» – пришлось прибавить оговорку – «народ *сам* вручает тебе *свою грозную власть*». Измененный «Тарар» предполагался к постановке на празднике федерации, в 1790 году, отсюда стремление Бомарше угодить духу времени. Он представляет Тарара – в дополнительной сцене «Коронация Тарара» – ограниченным конституцией и влагает в его уста тираду о разрешении брака

священникам. Несколько труднее было ввести в оперу решение другого вопроса – освободить или нет рабов во французских колониях. Брисо и Робеспьер стояли за первое: «Пусть лучше погибнут колонии, чем принцип», а Барнав – за второе. Бомарше не мог разгадать, какое из этих мнений имеет больше сторонников, и потому ввел в «Тарара» неопределенное утешение неграм – «будьте *счастливы* все!..» Но окончательно избегнуть столкновений с новыми веяниями ему все-таки не удалось. Во время представления оперы, 3 августа 1790 года, публика обнаружила столь разнородное отношение к спектаклю, что для восстановления порядка в зрительной зале пришлось потребовать солдат… Бомарше не был уже истинным выразителем общественного настроения. 14 июля 1789 года, в то время как толпа бушевала вокруг Бастилии, он как раз против этого места воздвигал свой роскошный дворец. Он как будто говорил толпе: «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас…» Но грозная сила все росла и росла… Он почувствовал необходимость, как в былое время с другими, пойти на компромисс с ней, сделаться слугою этой новой силы. Франция нуждалась в это время в оружии, и Бомарше предложил ей услуги. Он разузнал, что в Голландии продается большая партия ружей, и брался поставить их правительству. Дело было трудным, не лишенным таинственности прежних миссий господина Ронака. Надо было избегнуть подозрений со стороны Австрии и Англии, а пока Бомарше хлопотал над этим, про него уже говорили в Париже, что он завладел оружием, укрыл его в своем доме и собирается передать врагам нового порядка вещей. Потребовался обыск, чтобы снять это подозрение, обыск у автора «Женитьбы Фигаро», когда-то любимца народа!.. Клевета, конечно, оказалась клеветою, но через несколько дней Бомарше все-таки заключили в тюрьму, и только великодушие прокурора спасло его и возвратило ему свободу. Чтоб доказать свою преданность новому порядку, он опять добился посылки за пресловутыми ружьями. Вот он в Голландии, в качестве правительственного агента, хлопочет, занимает деньги у своего друга, английского негоцианта, и вдруг узнает о новой опале: его обвиняют в Париже как государственного преступника, и уже отдали приказ доставить его в оковах. Под первым впечатлением от этого известия он бежит в Англию и хочет затем отправиться оттуда во Францию, чтобы оправдаться перед конвентом. Но друг, одолжавший ему деньги, не рассчитывал на это оправдание и посадил Бомарше в долговую тюрьму. При помощи Гюдена совсем потерявший голову узник заплатил свой долг и сейчас же пустился в Париж. К нему опять вернулось былое мужество. Приехав в Париж, он напечатал чрезвычайно смелый для того времени – 6

марта 1793 года – мемуар под названием «Шесть эпох», обозрение всех своих приключений с поставкою ружей. С минуты на минуту можно было ожидать заключения Бомарше в тюрьму с неизбежным выходом оттуда на эшафот. Но правительство опять захотело приобрести те ружья, о которых хлопотал гражданин Карон. Комитет общественной безопасности предложил Конвенту отложить суд над писателем и отправить его в новую экспедицию в Голландию. Шестидесятилетний старик, глухой на одно ухо, в июне 1793 года Бомарше опять путешествует по казенной надобности под вымышленным именем Петра Шаррона. Он переезжает из Амстердама в Базель, из Базеля в Гамбург, из Гамбурга в Лондон и там узнает, что ружья захвачены Англией. В то же время в Париже забывают о его миссии и заносят его в списки эмигрантов. Его третья жена была арестована вместе с дочерью, имущество описано, а на пышном дворце красовалась надпись: «Национальное имущество». Чтобы спасти себя и дочь, жена должна была прекратить с ним всякое общение, и только 5 июля 1796 года, когда Директория сменила Конвент, после долгих хлопот его семьи, Бомарше опять появился в Париже на руинах былого благополучия. Почти через три года после этого его не было уже в живых. Он умер 18 мая 1799 года неожиданно, от удара, и эта неожиданность вызвала предположение, что он отравился. В этом слухе, несомненно ложном, звучит признание современников Бомарше, что слишком велики были муки этого человека, чтобы пережить их до конца. Бомарше похоронили, согласно его воле, в саду его знаменитого дома, но теперь могила писателя перенесена на кладбище Лашез.

Источники

1. *Louis de Loménie*. Beaumarchais et son temps. 4 éd.
2. *Louis de Loménie.* «Revue des Deux Mondes» (1852—1853).
3. *A. Bettelheim.* Beaumarchais, eine Biographie.
4. *Lintilhac*. Beaumarchais et ses oeuvres.
5. *Gudin de la Brenellerie.* Histoire de Beaumarchais.
6. *П.К. Бомарше.* Трилогия. С характеристикой А. Веселовского, пер. А. Чудинова.
7. *Oeuvres de Beaumarchais.*
8. *L. Celler*. Etudes dramatiques. Les valets au théâtre.
9. Полное собрание всех театральных сочинений, на российском языке имеющихся.
10. Mémoires *de m-me Campan.*
11. *Grimm.* Correspondance littéraire.
12. *Берне*. Парижские письма.
13. «Московские ведомости» за 1785 г.
14. *Arneth.* Beaumarchais und Sonnenfels.

---

notes

Примечания

1

т. е. монахов-францисканцев

2

само по себе *(нем.)*

З

дамы Франции *(фр.)*

4

в курсе *(фр.)*

5

«Деревенский колдун» *(фр.)*

6

где хорошо, там и родина *(лат.)*

7

местный колорит *(фр.)*

8

указ о заточении без суда и следствия *(фр.)*

9

«что это?» *(фр.)*

10

«У трех скороходов» *(нем.)*

11

подвиг *(фр.)*